

«Детское чтение для сердца и разума»

Н. М. Карамзин

РОМАН-ГАЗЕТА

10

детской

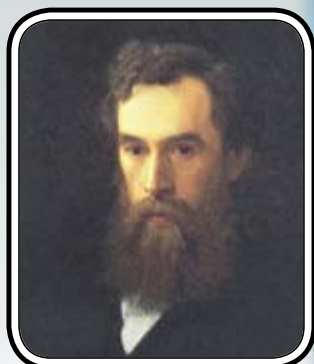
■ 2014 (184)

6+

ISSN 1684-0895



9 771684 089001 >



РУССКИЙ МУЗЕУМ:
Павел Третьяков



УГОЛОК РОССИИ:
Волоцкий монастырь



ЛИЦЕЙ:
Московский раёк



Иван ШМЕЛЁВ
НА СВЯТОЙ ДОРОГЕ

Художник Н. Бурдыкина



Сергей Есенин

Закружилась листва золотая

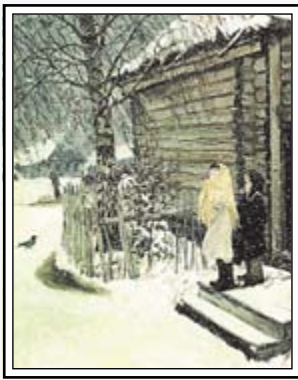
Закружилась листва золотая
В розовой воде на пруду,
Словно бабочек лёгкая стая
С замираньем летит на звезду.

Я сегодня влюблён в этот вечер,
Близок сердцу желтеющий дол.
Отрок-ветер по самые плечи
Заголил на берёзке подол.

И в душе и в долине прохлада,
Синий сумрак как стадо овец,
За калиткою смолкшего сада
Прозвенит и замрёт бубенец.

Я ещё никогда бережливо
Так не слушал разумную плоть,
Хорошо бы, как ветками ива,
Опрокинуться в розовость вод.

Хорошо бы, на стог улыбаясь,
Мордой месяца сено жевать...
Где ты, где, моя тихая радость,
Всё любя, ничего не желать?



А. Пластов
Первый снег
1946 г.



В номере:

3

Иван Шмелёв
На святой дороге

17

РУССКИЙ МУЗЕУМ
Музей впечатляющей судьбы: Третьяковская галерея

23

ПУШКИНСКИЙ ВЕНОК
Как Пушкин учился в школе

24

Стихи о Москве
Наша матушка родная, Златоглавая Москва!

26

ЛИЦЕЙ
Московский раёк

28

УГОЛОК РОССИИ
Сергей Иванов
Волоцкий монастырь



30

ЖИВОЙ УГОЛОК
Галина Маштакова
Покровительница кошек

32

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
Пётр Глядко
Достижения цивилизации

34

ИГРОТЕКА
Башни Кремля

35

РАССКАЗЫ
Владимир Волков
Моя умная внучка

36

СТРАНИЧКА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА



Главный редактор
Юрий Козлов

Зам. главного редактора
Екатерина Рощина

Художественное
редактирование
Татьяна Погудина

Зав. производством
Елена Шевцова

Компьютерная вёрстка
и цветоделение
Александр Муравенко

Корректор
Людмила Овчинникова

Главный бухгалтер
Людмила Дьячкова

Зав. распространением
Ирина Бродянская

Юриконсульт
Виктор Кудинов

Журнал для детей среднего
школьного возраста

Выходит один раз в месяц

С 1996 года рекомендован
Министерством общего
и профессионального
образования РФ
для внеклассного чтения

Подписные индексы в каталоге
агентства «Роспечать»:

72766 — на полгода

71899 — на год

Учредитель: ЗАО «Роман-газета»

Адрес редакции: 107078, Москва,
ул. Новая Басманная, 19.

Тел.: 8 (499) 261-84-61

Факс: 8 (499) 261-49-29

E-mail: roman-gazeta-1927@yandex.ru

Основан в 1995 г.

Журнал зарегистрирован
в Комитете Российской

Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации

№ 01384 от 27 июня 1995 г.

Отпечатано
в ОАО «Первая Образцовая

типография»

Филиал «Чеховский

Печатный Двор»

(142300, Московской обл., г. Чехов,

ул. Полиграфистов, д. 1)

Факс: 8 (496) 726-54-10,

Тел. 8 (495) 988-63-87

Многоканальный телефон отдела

продаж услуг: 8 (499) 270-73-59

Сайт: www.chpk.ru

e-mail: marketing@chpk.ru

Тираж 3000 экз.

В розницу цена свободная

Заказ № 3967

© «Роман-газета», 2014 г.

Выпуск издания осуществлён
при финансовой поддержке

Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям

Авторов материалов,
использованных в этом номере,
просим обращаться в редакцию

Иван ШМЕЛЁВ

НА СВЯТОЙ ДОРОГЕ

Художник В. ПАНОВ



Царский золотой

Петровки, самый разгар работ, — и отец целый день на стройках. Приказчик Василь Василич и не ночует дома, а всё в артелях. Горкин своё уже отслужил, — «на покое», — и его тревожат только в особых случаях, когда требуется свой глаз. Работы у нас большие, с какой-то «неустойкой»: не кончишь к сроку — можно и прогореть. Спрашиваю у Горкина: «Это что же такое — прогореть?»

— А вот скинут последнюю рубаху, — вот те и прогорел! Как прогорают-то... очень просто.

А с народом совсем беда: к покосу бегом домой, в деревню, и самые-то золотые руки. Отец страшно озабочен, спешит-спешит, летний его пиджак весь мокрый, пошли жары, Кавказка все ноги отмотала по постройкам, с утра до вечера не расседлана. Слышу — отец кричит:

— Полуторное плати, только попридержи народ! Вот бедовый народишка... рядились, черти, — обещались не уходить к покосу, а у нас неустойки тысячные... да не в деньгах дело, а себя уроним. Вбей ты им, дуракам, в

башку... втрое ведь у меня получают, чем со своих покосов!..

— Вбивал-с, всю глотку оборвал с ними... — разводит беспомощно руками Василь Василич, заметно похудевший, — ничего с ими не поделаешь, со спокон веку так. И сами понимают, а... гулянки им будто, травкой побаловаться. Как к покосу — уж тут никакими калачами не удержат, бегут. Воротятся — приналягут, а покуда сбродных попринаймём. Как можно-с, к сроку должны поспеть, будь покойны-с, уж догляжу.

То же говорит и Горкин, — а он всё знает: покос — дело душевное, нельзя иначе, со спокон веку так; на травке поотдохнут — нагонят.

Ранним утром, солнце чуть над сараями, а у крыльца уже шарабан. Отец сбегает по лестнице, жуя на ходу калачик, прыгает на подножку, а тут и Горкин, чего-то ему надо.

— Что тебе ещё?... спрашивает отец тревожно, раздраженно, — какой ещё незалад?

— Да всё, слава Богу, ничего. А вот, хочу вот к Сергию Преподобному сходить помолиться, по обещанию... взад-назад.

Отец бьёт вожжой Чалого и дёргает на себя. Чалый взбрыкивает и крепко сечёт по камню.



— Ты ещё... с пустяками! Так вот тебе в самую горячку и приспичило? помрешь — до Успенья погодишь?..

Отец замахивается вожжой — вот-вот ука-тит.

— Это не пустяки, к Преподобному схо-дить помолиться... — говорит Горкин с уко-ризной, выпрастывая запутавшийся в вожже хвост Чалому. — Тёплую бы пору захватить. А с Успенья ночи холодные пойдут, дожжи... уж нескладно итить-то будет. Сколько вот го-дов всё собираюсь...

— А я тебя держу? Поезжай по машине, в два дня управишься. Сам понимаешь, время горячее, самые дела, а... как я тут без тебя? Да ещё не дай Бог Косой запьянствует?..

— Господь милостив, не запьянствует... он к зиме больше прошибается. А всех делов, Сергей Иванович, не переделаешь. И годы мои такие, и...

— А, помирать собрался?

— Помирать не помирать, это уж Божья воля, а... как говорится, — делов-то пуды, а она — туды!

— Как? кто?.. Куды — туды?.. — спраши-вает с раздражением отец, замахиваясь вож-жой.

— Известно — кто. Она ждать не станет, — дела ли, не дела ли, — а всё покончит.

Отец смотрит на Горкина, на распахнутые ворота, которые придерживает дворник, при-кусывает усы.

— Чу-дак... — говорит он негромко, будто на Чалого, машет рукой чему-то и выезжает шагом на улицу.

Горкин идёт расстроенный, кричит на меня в сердцах: «Тебе говорю, отстань ты от меня, ради Христа!» Но я не могу отстать. Он идёт под навес, где работают столяры, отшвырива-ет ногой стружки и чурбачки и опять кричит на меня: «Ну, чего ты пристал?..» Кричит и на столяров чего-то и уходит к себе в камор-ку. Я бегу в тупичок к забору, где у него окош-ко, сажусь снаружи на облицовку и спраши-ваю все то же: возьмёт ли меня с собой. Он разбирается в сундучке, под крышкой кото-рого наклеена картинка — «Троице-Сергиева Лавра», лопнувшая по шелкам и полиняв-шая. Разбирается и ворчит:

— Не-эт, меня не удержите... к Серги-Тро-ице я уйду, к Преподобному... уйду. Всё я да я... и без меня управитесь. И Ондрюшка меня заступит, и Степан справится... по филенкам-то приглядеть, велико дело! А по подрядам снова — прошла моя пора. Косой не за-пьянствует, нечего бояться... коли дал мне слово-зарок — из уважения соблюдёт. Как раз самая пора, теплынь, народу теперь по всем дорогам... Не-эт, меня не удержите.

— А меня-то... обещался ты, а?.. — спра-шиваю я его и чувствую горько-горько, что меня-то уж ни за что не пустят. — А меня-то, пустят меня с тобой, а?..

Он даже не глядит на меня, всё разбирается.





— Пустят тебя, не пустят... — это не моё дело, а я всё равно уйду. Не-эт, не удержите... всех, брат, делов не переделаешь, не-эт... им и конца не будет. Пять годов, как Мартына схоронили, всё собираюсь, собираюсь... Царица Небесная как меня сохранила, — показывает Горкин на тёмную иконку, которую я знаю, — я к Иверской сорок раз сходить пообещался, и то не доходил, осьмнадцать ходов за мной. И Преподобному тогда пообещался. Меня тогда и Мартын просил-помирал, на Пасхе как раз пять годов вышло вот: «Помолись за меня, Миша... сходи к Преподобному». Сам так и не собрался, помер. А тоже обещался, за грех...

— А за какой грех, скажи... — упрашиваю я Горкина, но он не слушает.

Он вынимает из сундучка рубаху, полотенце, холщовые портянки, большой привязной мешок, заплочный.

— Это вот возьму, и это возьму... две сменки, да... И ещё рубаху, расхожую, и причащальную возьму, а ту на дорогу, про запас. А тут, значит, у меня сухарики... — пошумливает он мешочком, как сахарком, — с чайком попить — пососать, дорога-то дальняя. Тут, стало быть, у меня чай-сахар... — съёт он в мешок коробку из-под икры с выдавленной на крышке рыбкой, — а лимончик уж на ходу прихвачу, да... ножичек, поминанье... — съёт он книжечку с вытесненным на ней золотым крестиком, которую я тоже знаю, с раскрашенными картинками, как исходит душа из тела и как она ходит по мытарствам, а за ней светлый ангел, а внизу, в красных языках пламени, зелёные нечистые духи с вилами, — а это вот, за кого просвирки вынуть, леестрик... всё по череду надо. А это Сане Юрцову вареньица баночку снесу, в квасной послушание теперь несёт, у Преподобного, в монахи готовится... от Москвы, скажу, поклончик гостинчик. Бараночек возьму на дорожку...

У меня душа разрывается, а он говорит и говорит и всё укладывает в мешок. Что бы ему сказать такое?..

— Горкин... а как тебя Царица Небесная сохранила, скажи?.. — спрашиваю я сквозь слёзы, хотя всё знаю.

Он поднимает голову и говорит нестрого:

— Хлюпаешь-то чего? Ну, сохранила... я тебе не раз сказывал. На вот, утрись полотенчиком... дешёвые у тебя слёзы. Ну, ломали мы дом на Пресне... ну, нашёл я на чердаке старую иконку, ту вон... Ну, сошёл я с чердака, стою на втором ярусу... — дай, думаю, пооботру-погляжу, какая Царица Небесная, лика-то не видать. Только покрестился, локотком потереть хотел... — ка-как загремит всё... ни-чего уже не помню, взвило меня в пыль!.. Очнулся в самом низу, в брёвнах, в досках, всё покорежено... а над самой над головой у меня — здоровенная балка застряла! В

плюшку бы меня прямо!.. — вот какая. А ребята наши, значит, кличут меня, слышу: «Панкратыч, жив ли?» А на руке у меня — Царица Небесная! Как держал, так и... чисто на крылах опустило. И не оцарапало нигде, ни царапинки, ни синячка... вот ты чего подумай! А это стену неладно покачнули — балки из гнезда-то и вышли, концы-то у них сгнили... как ухнут, так всё и проломили, накаты все. Два яруса летел, с хламом... вот ты чего подумай!

Эту иконку — я знаю — Горкин хочет положить с собой в гроб, — душе чтобы во спасение. И всё я знаю в его каморке: и картинку Страшного Суда на стенке, с геенной огненной, и «Хождения по мытарствам преподобной Феодоры», и найденный где-то на работах, на сгнившем гробе, медный, литой, очень старинный крест с Адамовой главой, страшной... и пасочницу Мартына-плотника, вырезанную одним топориком. Над деревянной кроватью, с подпалинами от свечки, как жгли клопов, стоят на полочке, к образам, совсем уже серые от пыли, просвирки из Иерусалима-града и с Афона, принесённые ему добрыми людьми, и пузырёчки с напетым маслицем, с вылитыми на них угодничками. Недавно Горкин мне мазал зуб, и стало гораздо легче.

— А ты мне про Мартына всё обещался... топорик-то у тебя висит вон! С ним какое чудо было, а? — скажи-и, Горкин!..

Горкин уже не строгий. Он откладывает мешок, садится ко мне на подоконник и жестким пальцем смазывает мои слезинки.

— Ну, чего ты расстроился, а? что ухажу-то... На доброе дело ухажу, никак нельзя. Вырастешь — поймёшь. Самое душевное это дело, на богомолье сходить. И за Мартына помолюсь, и за тебя, милоч, просвирку выну, на свечку подам, хороший бы ты был, здоровье бы те Господь дал. Ну, куда тебе со мной тягаться, дорога дальняя, тебе не дойти... по машине вот можно, с папашенькой соберёшься. Как так, я тебе обещался... я тебе не обещался. Ну, пошутил, может...

— Обещался ты, обещался... тебя Бог накажет! вот посмотри, тебя Бог накажет!.. — кричу я ему и плачу и даже грожу пальцем.

Он смеется, прихватывает меня за плечи, хочет защекотать.

— Ну, что ты какой настойный, самондравный! Ну, ладно, шуметь-то рано. Может, так Господь повернёт, что и покажем с тобой по дорожке по столбовой... а что ты думаешь! Папашенька добрый, я его вот как знаю. Да ты погоди, послушай: расскажу тебе про нашего Мартына. Всего не расскажешь... а вот слушай. Чего сам он мне сказывал, а потом на моих глазах всё было. И всё сущая правда.

— Повёл его отец в Москву на работу... — поокивает Горкин мягко, как все наши плотники, володимирцы и костромичи, и это мне очень нравится, ласково так выходит, —



плотники они были, как и я вот, с нашей стороны. Всем нам одна дорожка, на Сергиев Посад. К Преподобному зашли... чугунки тогда и помину не было. Ну, зашли, всё честь честью... помолились-приложились, недельку Преподобному пороботали топориком, на монастырь, да... пошли к Черниговской, неподалечку, старец там проживал — спасался. Нонче отец Варнава там народ утешает — басловляет, а то до него был, тоже хороший такой, прозорливец. Вот тот старец благословил их на хорошую работку, и говорит пареньку, Мартыну-то: «Будет тебе талант от Бога, только не проступись!» Значит — правильно живи смотри. И ещё ему так сказал: «Кю мне побывай когда».

Роботали они хорошо, удачливо, талант у Мартына великой стал, такой глаз верный, рука надёжная... лучшего плотника и не видел я. И по столярному хорошо умел. Ну, понятно, и по филенкам чистяга был, лучше меня, пожалуй. Да уж я те говорю — лучше меня, значит — лучше, ты не перебивай. Ну, отец у него помер давно, он один и стал в людях, сирота. К нам-то, к дедушке твоему покойному, Ивану Иванычу, Царство Небесное, он много после пристал-порядился, а всё по разным ходил — не уживался. Ну, вот слушай. Талант ему был от Бога... а он, тёмный-то... понимаешь, кто? — своё ему, значит, приложил: выучился Мартын пьянствовать. Ну, его со всех местов и гоняли. Ну, пришёл к нам работать, я его маленько поудержал, по-разговорил душевно, — ровесники мы с ним



были. Разговорились мы с ним, про старца он мне и помянул. Велел я ему к старцу тому побывать. А он и думать забыл, сколько годов прошло. Ну, побывал он, ан — старец-то тот и помер уж, годов десять уж. Он и расстроился, Мартын-то, что не побывал-то, наказу его-то не послушал... совестью и расстроился. И с того дела к другому старцу и не пошёл, а, прямо тебе сказать, в кабак пошёл! И пришёл он к нам назад в одной рваной рубашке, стыд глядеть... босой, топорик только при нем. Он без того топорика не мог быть. Топорик тот от старца благословен... вон он самый, висит-то у меня, память это от него мне, отказан. Уж как он его не пропил, как его не отняли у него, — не скажу. При дедушке твоём было. Хотел Иван Иваныч его не принимать, а прабабушка твоя Устинья вышла с лестовкой... молилась она всё, правильная была по вере... и говорит: «Возьми, Ваня, грешника, приюти... его Господь к нам послал».

Ну, взял. А она Мартына лестовкой поучила для виду, будто за наказание. Он три года и в рот не брал. Что получит — к ней принесёт, за образа клала. Много накопил. Подошло ему опять пить, она ему денег не даёт. Как разживётся — всё и пропьёт. Стало его бесовать, мы его запирали. А то убить мог. Топор держит, не подступись. Боялся — топор у него покрадут, талант его пропадёт. Раз в три года у него болезнь такая нападала. Запрём его — он зубами скрипит, будто щепу дерёт, страшно глядеть. Силищи был невиданной... балки один носил, росту — саженный был. Боимся — ну, с топором убеёт! А бабушка Устинья войдёт к нему, погрозится лестовкой, скажет: «Мартынушка, отдай топорик, я его схороню!» — он ей покорно в руки, вот как.

Накопил денег, дом хороший в деревне себе построил, сестра у него жила с племянниками. А сам вдовый был, бездетный. Ну, жил и жил, с перемогами. Тройное получал! А теперь слушай про его будто грех...

Годов шесть тому было. Роботали мы по храму Христа Спасителя, от больших подрядчиков. Каменный он весь, а и нашей работки там много было... помосты там, леса ставили, переводыподводы, то-се... обшивочки, и под куполом много было всякого подмостья. Приехал государь поглядеть, спорные были переделки. В семьдесят в третьем, что ли, годе, в августе месяце, тепло ещё было. Ну, все подрядчики, по такому случаю, артели выставили, показаться государю, царю-освободителю, Лександре Николаичу нашему. Придели робят в чистое во всё. И мы с другими, большая наша была артель, видный такой народ... худого не скажу, всегда хорошие у нас харчи были, каши не поедали — отваливались. Вот государь посмотрел всю отделку, доволен остался. Выходит с провожатыми, со всеми генералами и князьями. И наш, стало быть, Владимир Ондreich, князь Долгоруков, с ни-

ми, генерал-губернатор. Очень его государь жаловал. И наш ещё Александра Александрыч Козлов, самый обер-польцмейстер, бравый такой, дли-инные усы, хвостами, хороший человек, зря никого не обижал. Ну, которые начальство при постройке — показывают робят, рабочий народ. Государь поздоровался, покивал, да... сияние от него такое, всякие медали... «Спасибо, — говорит, — молодцы».

Ну, «ура» покричали, хорошо. К нам подходит. А Мартын первый с краю стоял, высокий, в розовой рубахе новой, борода седая, по сех пор, хороший такой ликом, благочестивый. Государь и приостановился, пондравился ему, стало быть, наш Мартын. Хорош, говорит, старик... самый русский! А Козлов-то князю Долгорукому и доложи: «Может государю его величеству глаз свой доказать, чего ни у кого нет». А он, стало быть, про Мартына знал. Роботали мы в доме генерала-губернатора, на Тверской, против каланчи, и Мартын князю-то секрет свой и доказал. А по тому секрету звали Мартына так: «Мартын, покажи аршин!» А вот слушай. Вот князь и скажи государю, что так, мол, и так, может удивить. Папашенька перепугался за Мартына, и все-то мы забоялись — а ну проштрафится! А уж слух про него государю донесён, не шутки шутить. Вызывают, стало быть, Мартына. Государь ему и говорит, ничего, ласково: «Покажи нам свой секрет». — «Могу, — говорит, — ваше царское величество... — Мартын-то, — дозвоьте мне реечку». И не боится. Ну, дали ему реечку. «Извольте проверить, — говорит, — никаких помет нету». Генералы проверили — нет помет. Ну, положил он реечку ту, гладенькую, в полвершочка шириной, на доски, топорик свой взял. Все его обступили, и государь над ним встал... Мартын и говорит: «Только бы мне никто не помешал, под руку не смотрел... рука бы не заробела».

Велел государь маленько пораздаться, не наседать. Перекрестился Мартын, на руки поплевал, на реечку пригляделся, не дотронулся, ни-ни... а только так вот над ней пядью помотал-помотал, привесился... — р-раз, топориком! — мету и положил, отсёк. «Извольте, — говорит, — смерить, ваше величество».

Смерили аршинчиком клеймёным, — как влитой! Государь даже плечиками вскинул. Погодите, говорит Мартын-то наш. Провёл опять пядью над обрезком, — раз, раз, раз! — четыре четверти проложил-пометил. Смерили — ни на волосок прошибки! И вершочки, говорит, могу. И проложил. Могу, говорит, и до восьмушек. Государь взял аршинчик его, подержал время... «Отнесите, — говорит, — ко мне в покои сию диковинку и запишите в царскую мою книгу беспременно!» Похвалил Мартына и дал ему из кармана в брюках собственный золотой! Мартын тут его и поцеловал, золотой тот. Ну, тут ему наклали князья и генералы, кто целковый, кто трёшку, кто

четвертак... — попиروвали мы. Мартын золотой тот царский под икону положил, навеки.

Ну, хорошо. Год не пил. И опять на него нашло. Ну, мы от него всё поотобрали, а его заперли. Ночью он таки сбёг. С месяц пропал — пришёл. Полез я под его образа глядеть, — золотого-то царского и нет, пропил! Стали мы его корить: «Царскую милость пропил!» Он божится: не может того быть! Не помнит: пьяный, понятно, был. Пропил и пропил. С того срока он и пить кончил. Станем его дразнить: «Царский золотой пропил, доказал свой аршин!» Он прямо побелеет, как не в себе. «Креста не могу пропить, так и против царского дару не проступлюсь!»

По-омнил, чего ему старец наказывал — не проступись! А вышло-то — проступился будто.

Ему не верят, а он на своём стоит. Грех какой! Ладно. Долго всё тебе рассказывать, другой раз много расскажу. И вот простудился он на ердани, закупался с немцем с одним, — а потом тебе расскажу. Три месяца болел. На Великую Субботу мне и шепчет: «Помру, Мишан... старец-то тот уж позвал меня... — что ж, говорит, Мартынушка, не побываешь?» — во сне ему, стало быть, привиделся. — «Дайка ты мне царский золотой... — говорит, — он у меня схоронен... а где — не могу сказать, затмение во мне, а он цел. Поищи ты, ради Христа, хочу поглядеть, порадоваться — вспомануть». И слова уж путает, затмение на нём. «Я, говорит, от себя в душу схоронил тогда... не может того быть, цел невредимо».

Это к тому он — не пропил, стало быть. Сказал я папашеньке, а он пошёл к себе и выносит мне золотой. Велел Мартыну дать, будто нашли его, не тревожился чтобы уж для смерти. Дал я его и говорю: «Верно сказывал, сыскался твой золотой». Так он как же возрадовался, — заплакал! Поцеловал золотой и в руке зажал. Соборовали его, а он и не разжимает руку-то, кулаком, вот так вот, с ним и крестился, с золотым-то, рукой его уж я сам водил. На третий день Пасхи помер хорошо, честь честью. Вспоминали про золотой, стали отымать, а не разожмёшь, ни-как! Уж доломом развернули, пальцы-то. А он прямо скипелся, влип в самую долонь, в середку, как в воск, закрайшков уж не видно. Выковыряли мы, подняли... а в руке-то у него, на самой на долони — о-рёл! Так и врезан, синий, отчетливый... царская самая печать. Так и не растаял, не разошёлся, будто печать приложена, природная. Так мы его и похоронили, орлёного. А золотой тот папашенька на сорокоуст подать приказал, на помин души. Хорошо... Что ж ты думаешь!.. Через год случилось: стали мы полы в спальнях перестилать, — и что ж ты думаешь!.. Под его изголовьем, где у него образок стоял... доски-то как подняли... на накате на чёрном... тот самый золотой лежит-светит!.. а!.. Самый тот, царский, новёшенький-разновёшенький! Все сразу и при-





знали. То ли он его обронил, как с-под иконы-то тащил пропивать, себя не помнил... то ли и вправду от себя спрятал, в щель на накат спустил... — «душу-то от себя схоронил», сказывал мне тогда, помирая... Тут уж он перед всеми и оправдался: не проступился, вот! И все так мы обрадовались, панихиду с певчими по нём служили... хорошо было, весело так, «Христос воскрес» пели, как раз на Фоминой вышло-то. Подали тот золотой папашеньке... подержал-подержал. «Отдать, говорит, его на церкву, на сорокоуст! пускай, говорит, по народу ходит, а не лежит занапрасно... это, говорит, золотой счастливый, непропащий!»

Так мне его желалось обменять, для памяти! Да подумал — пуцай его по народу ходит, верно... зарочный он, не простой. И отдали. Так вот теперь и ходит по народу, нечучемо. Ну, как же его узнаешь... нельзя узнать. Вот те и рассказал. Вот, значит, и пойду к Преподобному, зарок исполню, Мартына помяну... Ну, вот... и опять захлюпал! А ты постой, чего я тебе скажу-то...

Я неутешно плачу. Жалко мне Мартына, что он помер... так жалко! И что того золотого не узнаю, и что Горкин один уходит...

Приезжает отец, — что-то сегодня рано, — кричит весело на дворе: «Горкин-старина!» Горкин бежит проворно, и они долго прохаживаются по двору. Отец весёлый, похлопывает Горкина по спине, свистит и щёлкает. Что-нибудь радостное случилось? И Горкин повеселел, что-то всё головой мотает, трясёт бородкой, и лицо ясное, довольное. Отец кричит со двора на кухню:

— Все к ботвинье, да поживей! Там у меня в кулёчке, разберите!..

И обед сегодня особенный. Только сели, отец закричал в окошко:

— Горка-старина, иди с нами ботвинью есть! Ну-ну, мало что ты обедал, а ботвинья с белорыбицей не каждый день... не церемонься!

Да, обед сегодня особенный: сидит и Горкин, пиджачок надел свежий и голову намастил. И для него удивительно, почему это его позвали: так бывает только в большие праздники. Он спрашивает отца, конфузливо потягивая бородку:

— Это на знак чего же... парад-то мне?

— А вот понравился ты мне! — весело говорит отец.

— Я уж давно пондравился... — смеётся Горкин, — а хозяин велит — отказываться грех.

— Ну, вот и ешь белорыбицу.

Отец необыкновенно весел. Может быть, потому, что сегодня, впервые за столько лет, распустился белый, душистый такой, цветочек на апельсинном деревце, его любимом?

Я так обрадовался, когда перед обедом отец кликнул меня из залы, схватил под мышки, поднёс к цветочку и говорит: «Ну нюхай, ню-ня!»

И стол весёлый. Отец сам всегда делает ботвинью. Вокруг фаянсовой, белой, с голубыми закраинками, миски стоят, тарелочки, и на них всё весёлое: зелёная горка мелко нарезанного луку, темно-зеленая горка душистого укропу, золотенькая горка толченой апельсинной цедры, белая горка струганого хрена, буро-зелёная — с ботвиньей, стопочка тоненьких кружочков, с зёрнышками, — свежие огурцы, мисочка льду хрустального, глыба белорыбицы, сочной и розовато-бледной, плёночки золотистого балычка с краснинкой. Все это пахнет по-своему, вязко, свежо и остро, наполняет всю комнату и сливается в то чудесное, которое именуется — ботвинья. Отец, засучив крепкие манжеты в крупных золотых запонках, весело всё размешивает в миске, бухает из графина квас, шипит пузырьками пена. Жара: ботвинья теперь — как раз.

Все едят весело, похрустывают огурчиками, хрящами, — хру-хру. Обсасывая с усов ботвинью, отец всё чего-то улыбается... чему-то улыбается?

— Так... к Преподобному думаешь? — спрашивает он Горкина.

— Желается потрудиться... давно собираюсь... — смиренно-ласково отвечает Горкин, — как скажете... ежели дела позволяют.

— Да, как это ты давеча?.. — посмеивается отец, — «делов-то пуды, а она — туды»?! Это ты правильно, мудрователь. Ешь, брат, ботвинью, ешь — не тужи, крепки ещё гужи! Так когда же думаешь к Троице, в четверг, что ли, а? В четверг выйдешь — в субботу ко всенощной поспеешь.

— Надо бы поспеть. С Москвой считать, семь десятков вёрст. К вечерням можно поспеть и не торопиться... — говорит Горкин, будто уже они решили.

У меня расплывается в глазах: ширится графин с квасом, ширятся-растекаются тарелки, и прозрачные, водянистые узоры текут на меня волнами. Отец подымает мне подбородок пальцем и говорит:

— Чего это ты нюнишь? С хрену, что ль? Корочку понюхай.

Мне делается ещё больней. Чего они надо мной смеются! Горкин — и тот смеется. Гляжу на него сквозь слезы, а он подмаргивает, слышу — толкает меня в ногу.

— Может, и мы подведем... — говорит отец, — давно я не был у Троицы.

— Вот, хорошее дело, помолитесь... — говорит Горкин радостно.

— Мы-то по машине, а его уж... — глядит на меня отец, прищурясь, — Бог с ним, бери с собой... пускай потрудится. С тобой отпустить можно.

Верить — не верить?..

— Уж будьте покойны, со мной не пропадёт... радость-то ему какая! — радостно отвечает Горкин, и опять растекается у меня в глазах. Но это уже другие слёзы.

— Ну, пусть так и будет. И Антипа с вами отпускаю... Кривую на подмогу, потащится. Устанет — поприсядет. Верно, брат... всех делов не переделаешь. И передохнуть надо...

Верить — не верить?.. Я знаю, отец любит обрадовать.

Горкин моргает мне, будто хочет сказать, как давеча:

«А что я те сказал! папашенька добрый, я его вот как знаю!..»

Так вот о чём они говорили на дворе! И оттого стал весёлый Горкин? И почему это так случилось?.. Я что-то понимаю, но не совсем. И почему всё отец смеётся, встряхивает хохлом и повторяет: «Всех делов, брат, не переделаешь... верно! делов-то пуды, а она — туды!..»

Кто же это — она!..

Я что-то понимаю, но не совсем.

Москвой

Из окна веет холодком зари. Утро такое тихое, что слышно, как бегают голубки по крыше и встряхивается со сна Бушуй. Я минутку лежу, тянусь; слушаю — петушки поют, голос Горкина со двора, будто он где-то в комнате:

— Тяжи-то бы подтянуть, Антипушка... да охачочку бы сенца ещё!

— Маленько подтянуть можно. Погодку-то дал Господь...

— Хорошо, жарко будет. Кака роса-то, крыльцо всё мокрое. Бараночек, Федя, прихватил?.. Это вот хорошо с чайком.

— Покушайте, Михал Панкратыч, только из печи выкинули.

Слышно, как ломают они бараночки и хрустят. И будто пахнет баранками. Все у крыльца, за домом. И Кривая с тележкой там, подковками чокает о камни. Я подбегаю к окошку крикнуть, что я сейчас. Веет радостным холодком, зарей. Вот какая она, заря-то!

За Барминихиным садом небо огнистое, как в пожар. Солнца ещё не видно, но оно уже светит где-то. Крыши сараев в бледно-огнистых пятнах, как бывает зимой от печки. Розовый шест скворешника начинает краснеть и золотиться, и над ним уже загорелся пруттик. А вот и сарай золотятся. На гребешке амбара сверкают крыльями голубки, вспыхивает стекло под ними: это глядится солнце. Воздух... пахнет как будто радостью.

Бежит с охачкой сенца Антипушка, захлопывает ногой конюшню. На нём чёрные, с дегтя, сапоги — а всегда были рыжие, — жёлтый большой картуз и обвислый пиджак из парусины, Василь Василича, «для жары»; из кармана болтается верёвка.

— Дегтянку-то бы не забыть!.. — заботливо окликает Горкин, — поилка, торбочка... ничего словно не забыли. Чайку по чашечке — да и с Богом. За Крестовской, у Брехунова, как следует напьёмся, не торопясь, в садочке.

И я готов. Картузик на мне соломенный, с лаковым козырьком; суровая рубашка, с петушками на рукавах и вороте; расхожие сапожки, чтобы ноге полегче, новые там надеву. Там... Вспомнишь — и дух захватит. И радостно, и... не знаю что. Там — всё другое, не как в миру... — Горкин рассказывал, — церкви всегда открыты, воздух — как облака, кафельный... и все поют: «И-зве-ди из темницы душу моюууу!..» Прямо душа отходит.

Пьём чай в передней, отец и я. Четыре только прокуковало. Двери в столовую прикрыты, чтобы не разбудить. Отец тоже куда-то едет: на нём верховые сапоги и куртка. Он пьёт из гранёного стакана пунцовый чай, что-то считает в книжечке, целует меня рассеянно и строго машет, когда я хочу сказать, что наш самовар стал розовый. И передняя розовая стала, совсем другая!

— Поспеешь, ногами не сучи. Мажь вот икорку на калачик.

И всё считает: «Семь тыщ дерев... да с новой рощи... ну, двадцать тыщ дерев...» Качается над его лбом хохол, будто считает тоже. Я глотаю горячий чай, а часы-то стучат-стучат. Почему розовый пар над самоваром, и скатерть, и обои?.. Тёмная горбатая икона Страстей Христовых стала как будто новой, видно на ней распятие. Вот отчего такое... За окном — можно достать рукой — розовая кирпичная стена, и на ней полоса от солнца: оттого-то и свет в передней. Никогда прежде не было. Я говорю отцу:

— Солнышко заглянуло к нам!

Он смотрит рассеянно в окошко, и вот — светлеет его лицо.

— А-а... да, да. Заглянуло в проулок к нам.

Смотрит — и думает о чём-то.

— Да... дней семь-восемь в году всего и заглянет сюда к нам в щель. Дедушка твой, бывало, всё дожидался, как долгие дни придут... чай всегда пил тут с солнышком, как сейчас мы с тобой. И мне показывал. Маленький я был, забыл уж. А теперь я тебе. Так вот всё и идёт... — говорит он задумчиво. — Вот и помолись за дедушку.

Он оглядывает переднюю. Она уже тусклет, только икона светится. Он смотрит над головой и напевает без слов любимое — «Кресту Твоему... поклоняемся, Влады-ыко-о»... Солнышко уползает со стены.

В этом скользющем свете, в напеве грустном, в ушедшем куда-то дедушке, который видел то же, что теперь вижу я, чувствуется смутной мыслью, что всё уходит... уйдёт и отец, как этот случайный свет. Я изгибаю голову, слежу за скользющим светом... вижу из щели небо, голубую его полоску между стеной и домом... и меня заливают радостью.

— Ну, заправился? — говорит отец. — Помни, слушаться Горкина. Мешочек у него





с мелочью, будет тебе выдавать на нищих. А мы, Бог даст, догоним тебя у Троицы.

Он крестит меня, сажает к себе на шею и сбегает по лестнице.

На дворе весело от солнца, свежевато. Кривая блестит, словно её наваксили; блестит и дуга, и сбура, и тележка, новенькая совсем, игрушечка. Горкин — в парусиновой поддёвке, в майском картузике на бочок, с мешком, румяный, бодрый, борода — как серебро. Антипушка — у Кривой, с вожжами. Федя — по-городскому, в лаковых сапогах, словно идёт к обедне; на боку у него мешок с подвязанным жестяным чайником. На крыльце сидит Домна Панферовна, в платочке, с отвислой шеей, такая красная, — видно, ей очень жарко. На ней серая тальма балахоном, с вишьюльками, и мягкие туфли-шлёпанки; на коленях у ней тяжёлый ковровый саквояж и белый пузатый зонт. Анюта смотрит из-под платочка куколкой. Я спрашиваю, взяла ли хрустальный шарик. Она смотрит на бабушку и молчит, а сама щупает в кармашке.

— Матерьял сдан, доставить полностью! — говорит отец, сажая меня на сено.

— Будьте покойны, не рассыпим, — отвечает Горкин, снимает картуз и крестится. — Ну, нам час добрый, а вам счастливо оставаться, по нам не скучать. Простите меня, грешного, в чём согрубил... Василь Василичу поклончик от меня скажите.

Он кланяется отцу, Марьюшке-кухарке, собравшимся на работу плотникам, скорнякам, ночевавшим в телеге на дворе, вылезавшим из-под лоскутного одеяла, скребущим головы, и тихому в этот час двору. Говорят на разные голоса: «Час вам добрый», «Поклонитесь за нас Угоднику». Мне жаль чего-то. Отец щурится, говорит: «Я ещё с вами штуку угоню!» — «Прокурат известный», — смеётся Горкин, прощается с отцом за руку. Они целуются. Я прыгаю с тележки.

— Пускай его покрасует маленько, а там посадим, — говорит Горкин. — Значит, так: ходу не припушай, по мне трафься. Пойдём полегоньку, как богомолы ходят, и не уморимся. А ты, Домна Панферовна, уж держи фасон-то.

— Сам-то не оконфузься, батюшка, а я котышком покачусь. Саквояжик вот положу, пожалуй.

Из сени выбегает Трифонич, босой, — чуть не проспал проститься, — и суёт посылочку для Сани, внучка, послушником у Троицы. А сами с бабушкой по осени побывают, мол... торговлишку, мол, нельзя оставить, пора рабочая самая.

— Ну, Господи, благослови... пошли!

Тележка гремит-звонит, попрыгивает в ней сено. Все высыпает за ворота. У Ратникова, на

против, стоит на тротуаре под окнами широкая телега, и в неё по лотку спускают горячие ковриги хлеба; по всей улице хлебный дух. Горкин велит Феде прихватить в окошко фунтика три-четыре сладкого, за Крестовской с чайком заправимся. Идём не спеша, по холодочку. Утица светлая, пустая; метут мостовую дворники, золотится над ними пыль. Едут решета на дрожинах: везут с Воробьёвки на Болото первую ягоду — сладкую русскую клубнику: дух по всей улице. Горкин окликает: «Почём клубника?» Отвечают: «По деньгам! Приходи на Болото, скажем!» Горкин не обижается: «Известно уж, воробьёвцы... народ зубастый».

На рынке нас нагоняет Федя, кладёт на сено угол теплого «сладкого», в бумажке. У бассейны Кривая желает пить. На крыльце будки, такой же сизой, как и бассейн, на середине рынка, босой старичок в розовой рубахе держит горящую лучину над самоварчиком. Неужели это Гаврилов, бутушник! Но Гаврилов всегда с медалями, в синих штанах с саблей, с чёрными, жесткими усами, строгий. А тут — старичок, как Горкин, в простой рубахе, с седенькими усами, и штаны на нём ситцевые, трясутся, ноги худые, в жилках, и ставит он самоварчик, как все простые. И зовут его не Гаврилов, а Максимыч.

Пока поит Антипушка, мы говорим с Максимычем. Он нас хвалит, что идём к Троице-Сергию, — «дело хорошее», говорит, суёт пылающую лучину в самоварчик и велит погодить маленько — гривенничек на свечки вынесет. Горкин машет: «Че-го, со-чтёмся!» — но Максимыч отмахивается: «Не-э, это уж статья особая», — и выносит два пятака. За один — Преподобному поставить, а другую... «выходит, что на канун... за упокой души воина Максима». Горкин спрашивает: «Так и не дознались?» Максимыч смотрит на самоварчик, чешет у глаза и говорит невесело:

— Обер проезжал намедни, подозвал пальцем... помнит меня. Говорит: «Не надейся, Гаврилов, к сожалению... все министры все бумаги перетряхнули — и следу нет!» Пропал под Плевной. В августе месяце два года будет. А ждали со старухой. Охотником пошёл. А место какое выходило, Городской части... самые Ряды, Ильинка...

Горкин жалеет, говорит: «Живот положил... молиться надо».

— Не воротишь... — говорит в дым Максимыч, над самоварчиком.

А я-то его боялся раньше.

Слышу, кричит отец, скачет на нас Кавказкой:

— Богомольцы, стой! Ах, Горка... как мне, брат, глаз твой нужен! рощи торгую у Васильчиковых, в Коралове... делянок двадцать. Как бы не обмишулиться!

— Вот те раз... — говорит Горкин растерянно, — давеча-то бы сказали!.. Как же теперь... дороги-то наши разные?..



— Ползите уж, обойдусь. Не хнычешь? — спрашивает меня и скачет к Крымку, налево.

— На вот, не сказал давеча! — всплескивает руками Горкин. — Под Звенигород поскакал. Ну, горяч!.. Пожалуй, и к Савве Преподобному доспеет.

Я спрашиваю, почему теперь у Гаврилова усы седые и он другой.

— Рано, не припарадился. А то опять бравый будет. Иначе ему нельзя.

Якиманка совсем пустая, светлая от домов и солнца. Тут самые раскупцы, с Ильинки. Дворники, раскорячив ноги, лежат на воротных лавочках, бляхи на них горят. Окна вверху открыты, за ними тихо.

— Домна Панфёровна, жива?..

— Жи-ва... сам-то не захромай... — отзывается Домна Панфёровна с одышкой.

Катится вперевалочку, ничего. Рядом, в робушном, Анюта с узелочком, откуда глядит калачик. Я — на сене, попрыгиваю, пою себе. Попадаются разношники с Болота, несут зелёный лук молодой, красную, первую, смородинку, зелёный крыжовник аглицкий — на варенье. Едут порожние ломовые, жуют ситный, идут белые штукатуры и маляры с кистями, подходят к трактирам пышечники.

Часовня Николая Чудотворца, у Каменного моста, уж открылась, заходим приложиться, кладём копеечки. Горкин даёт мне из моего мешочка. Там копейки и грошики. Так уж всегда на богомолье — милостыньку дают, кто просит. На мосту Кривая упирается, желает на Кремль глядеть: приучила так праба-

бушка Устинья. Москва-река — в розовом туманце, на ней рыболовы в лодочках, поднимают и опускают удочки, будто водят усами раки. Налево — золотистый, лёгкий, утренний храм Спасителя, в ослепительно золотой главе: прямо в неё бьёт солнце. Направо — высокий Кремль, розовый, белый с золотцем, молодо озаренный утром. Тележка катится звонко с моста, бежит на вожжах Антипушка. Домна Панфёровна, под зонтом, словно летит по воздуху, обогнала и Федю. Кривая мчится, как на бегах, под горку, хвостом играет. Медленно тянем в горку. И вот — Боровицкие ворота.

Горкин ведёт Кремлём.

Дубовые ворота в башне всегда открыты — и день, и ночь. Гулко гремит под сводами тележка, и вот он, священный Кремль, светлый и тихий-тихий, весь в воздухе. Никто-то не сторожит его. Смотрят орлы на башнях. Тихий дворец, весь розовый, с отблесками от стекол, с солнца. Справа — обрыв, в решётке, крестики древней церковки, куполки, зубчики стен кремлёвских, Москва и даль.

Горкин велит остановиться.

Крестимся на Москву внизу. Там, за рекой, Замоскворечье, откуда мы. Утреннее оно, в туманце. Свечи над ним мерцают — белые колоколенки с крестами. Слышится редкий благовест.

А вот — соборы.

Грузно стоят они древними белыми стенами, с узенькими оконцами, в куполах. Пухлые купола клубятся. За ними — синь. Будто





не купола: стоят золотые облака — клубятся. Тлеют кресты на них тёмным и дымным золотом. У соборов не двери — дверки. Люди под ними — мошки. В кучках сидят они, там и там, по плитам Соборной площади. Что ты, моя тележка... и что я сам! Остро звенят стрижки, носятся в куполах, мелькая.

— Богомольцы-то, — указывает Горкин, — тут и спят, под соборами, со всей России. Чаёк попивают, переобуваются... хорошо. Успенский, Благовещенский, Архангельский... Ах и хорошие же соборы наши... душевные!..

Постукивает тележка, как в пустоте, — отстукивает в стенах горошком.

— Во, Иван-то Великой... ка-кой!..

Такой великий... больно закинуть голову. Он молчит.

Мимо старинных пушек, мимо пёстрой заградочки с солдатом, который обнял ружьё и смотрит, катится звонкая тележка, книзу, под башенку.

— А это Никольские ворота, — указывает Горкин. — Крестись, Никола — дорожным помочь. Ворочь, Антипушка, к Царице Небесной... нипочём мимо не проходят.

Иверская открыта, мерцают свечи. На скользкой железной паперти, ясной от скольких ног, — тихие богомольцы, в кучках, с котомками, с громкими жестяными чайниками и мешками, с палочками и клюшками, с ломтями хлеба. Молятся, и жуют, и дремлют. На синем, со звёздами золотыми, куполке — железный, с мечом, Архангел держит высокий крест.

В часовне ещё просторно и холодок, пахнет горячим воском. Мы ставим свечи, падаем на колени перед Владычицей, целуем ризу. Тёмный знакомый лик скорбно над нами смотрит — всю душу видит. Горкин так и сказал: «Молись, а Она уж всю душу видит». Он подводит меня к подсвечнику, широко разевает рот и что-то глотает с ложечки. Я вижу серебряный горшочек, в нём на цепочке ложечка. Не сладкая ли кутья, какую дают в Хотькове? Горкин рассказывал. Он поднимает меня под мышки, велит ширьше разинуть рот. Я хочу выплюнуть — и страшусь.

— Глотай, глотай, дурачок... святое маслице... — шепчет он.

Я глотаю. И все принимают маслице. Домна Панфёровна принимает три ложечки, будто пьёт чай с вареньем, обсасывает ложечку, облизывает губы и чмокает. И Анюта как бабушка.

— Ещё бы принял, а? — говорит мне Домна Панфёровна и берётся за ложечку, — животик лучше не заболит, а? Молёное, чистое, афонское, а?..

Больше я не хочу. И Горкин остерегает:

— Много-то на дорогу не годится, Домна Панфёровна... кабы чего не вышло.

Мы проходим Никольскую, в холодке. Лавки ещё не отпирались, — сизые ставни да

решётки. Из глухих, темноватых переулков тянет на нас прохладой, пахнет изюмом и мятым пряником: там лабазы со всякой всячиной. В голубой башенке — Великомученик Пантелеймон. Заходим и принимаем маслице. Тянемся долго-долго — и всё Москва. Анюта просится на возок, кривит ножки, но Домна Панфёровна никак: «Взялась и иди пешком!» Входим под Сухареву башню, где колдун Брюс сидит, замуравлен на веки вечные. Идём Мещанской — всё-то сады, сады. Двигутся богомольцы, тянутся и навстречу нам. Есть московские, как и мы; а больше дальние, с деревень: бурые армяки-серемяга, онучи, лапти, юбки из крашенины, в клетку, платки, понёвы, — шорох и шлепы ног. Тумбочки — деревянные, травка у мостовой; лавчонки — с сушёной воблой, с чайниками, с лаптями, с кваском и зелёным луком, с копчёными селёдками на двери, с жирною «астраханкой» в кадках. Федя полощется в рассоле, тянет важную, за пяттак, и нюхает — не духовного звания? Горкин крикает: хоро-ша! Говеет, ему нельзя. Вон и жёлтые домики заставы, за ними — даль.

— Гляди, какие... рязанские! — показывает на богомолка Горкин. — А ушками-то позадь — смоленские. А то тамбовки, ноги кувалдами... Сдалече, мать?

— Дальние, отец... рязанские мы, стяпные... — поёт старушка. — Московский сам-то? Внушек тебе-то паренёк? Картузик какой хороший... почём такой?

С ней идёт красивая молодка, совсем как девочка, в узорочной сорочке, в красной повязке рожками, смотрит в землю. Бусы на ней янтарные, она их тянет.

— Твоя красавица-то? — спрашивает Горкин про девочку, но та не смотрит.

— Внучка мне... больная у нас она... — жалостно говорит старушка и оправляет бусинки на красавице. — Молчит и молчит, с год уж... первенького как заспала, мальчик был. Вот и идём к Угоднику. Повозочка-то у тебе нарядная, больно хороша, увозлива... почём такая?

Тележка состукивает на боковину, катится хорошо, пылит. Домики погрязней, пониже, дальше от мостовой. Стучат чёрные кузницы, пахнет угарным углем.

— Прощай, Москва! — крестится на заставе Горкин. — Вот мы и за Крестовской, самое богомолье начинается. Ворочь, Антипушка, под рябины, к Брехунову... закусим, чайку попьём. И садик у него приятный. Наш, ростовский... приговорки у него всякие в трактире, расписано хорошо...

Съезжаем под рябины. Я читаю на синей вывеске: «Трактир “Отрада” с Мытищинской водой Брехунова и Сад».

— Ему с ключей возят. Такая вода... упьёшься! И человек раздушевный.

— А селёдку-то я есть не стану, Михал Панкратыч, — говорит Федя, — поговеть тоже хочу. Куда её?..

— Хорошее дело, поговей. Пятак зря загубил... да ты богатый. Проходящему кому подай... куда!

— А верно!.. — говорит Федя радостно и суёт старику с котомкой, плетущемуся в Москву.

Старичок крестится на Федю, на селёдку и на всех нас.

— Во-от... спаси тя Христос, сынок... а-а-а... спаси тя... — тянет он едва слышно, такой он слабый, — а-а-а... се-лédка... спаси Христос... сынок...

— Как Господь-то устраивает! — кричит Горкин. — Будет теперь селёдку твою помнить, до самой до смерти.

Федя краснеет даже, а старик всё щупает селёдку. Его обступают богомолки.

— С часок, пожалуй, пропьём. Кривую-то лучше отпрячь, Антипушка... во двор введём. Маленько постоит тут, скажу хозяину.

Богомолцы всё движутся. Пахнет дорогой, пылью. Видны леса. Солнце уже печёт, небо голубовато-дымно. Там, далеко за ним, — радостное, чего не знаю, — Преподобный. Церкви всегда открыты, и все поют. Господи, как чудесно!..

— Вводи, Антипушка! — кричит Горкин, уж со двора.

За ним — хозяин, в белой рубахе, с малиновым пояском под пузом, толстый, весёлый, рыжий. Хвалит нашу тележку, меня, Кривую, снимает меня с тележки, несёт через жижицу в канавке и жарко хрипит мне в ухо:

— Вот уважили Брехунова, заглянули! А я вам стишок спою, все мои гости знают...

*Брехунов зовёт в «Отраду»
Всех — хошь стар, хошь молодой.
Получайте все в награду
Чай с мытищинской водой!*



На святой дороге

С треском встряхивают меня, страшные голоса кричат: «Тпру!.. тпру!..» — и я, как вприсонках, слышу:

— Понеслась-то как!.. Это она Язузу признала, пить желает.

— Да нешто Язуза это?

— Самая Язуза, только чистая тут она.

Какая Язуза? Я ничего не понимаю.

— Вставай, милой... ишь разоспался как! — узнаю я ласковый голос Горкина. — Щёки-те нажгло... Хуже так-то жарой сморит, в головку напекёт. Вставай, к Мытищам уж подходим, донёс Господь.

Во рту у меня все сохлось, словно песок насыпан, и такая истома в теле — косточки все поют. Мытищи?.. И вспоминаю радостное: вода из горы бежит! Узнаю голосок Анюты:

— Какой же это, бабушка, богомольщик... в тележке все!

И теперь начинаю понимать: мы идем к Преподобному, и сейчас лето, солнышко, всякие цветы, травки... а я в тележке. Вижу кучу травы у глаза, слышу вялый и тёплый запах, как на Троицын день в церкви, — и ласкающий холодок освежает моё лицо: сыплются на меня травинки, и через них





всё — зелёное. Так хорошо, что я притворяюсь спящим и вижу, жмурясь, как Горкин посыпает меня травой и смеётся его борода.

— Мы его, постой, кропивкой... Онюта, да кося мне кропивку-то!..

Вижу обвисшие от жары орешины, воткнутые надо мной от солнца, и за ними — слепящий блеск. Солнце прямо над головой, палит. У самого моего лица — крупные белые ромашки в траве, синие колокольчики и — радость такая! — листики земляники с зародышками ягод. Я вскакиваю в тележке, хватаю траву и начинаю тереть лицо.

И теперь вижу всё.

Весело, зелено, чудесно! И луга, и поля, и лес. Он ещё далеко отсюда, угрюмый, тёмный. Называют его — боры. В этих борах — Угодник, и там — медведи. Ближе сереется деревня, словно дрожит на воздухе. Так бывает в жары, от пара. Сияет-дрожит над ней белая, как из снега, колокольня, с блистающим золотым крестом. Это и есть Мытищи. Воздух — густой, горячий, совсем медовый, с согрившихся на лугах цветов. Слышно жужжанье пчёл.

Мы стоим на лужку, у речки. Вся она в колком блеске из серебра, и чудится мне: на струйках — играют-сверкают крестики. Я кричу:

— Крестики, крестики на воде!..

И все говорят на речку:

— А и вправду... с солнышка крестики играют словно!



Речка кажется мне святой. И кругом всё — святое.

Богомольцы лежат у воды, крестятся, пьют из речки пригоршнями, мочат сухие корочки. Бедный народ всё больше в сермягах, в кафтанишках, есть даже в полушубках, с заплатками, — захватила жара в дороге, — в лаптях и в чунях, есть и совсем босые. Перематывают онучи, чистятся, спят в лопухах у моста, настёгивают крапивой ноги, чтобы пошли ходчей. На мосту сидят с деревянными чашками убогие и причитают:

— Благодетели... милостивцы, подайте святую милостинку... убогому-безногому... родителей-сродников... для-ради Угодника, во телоздравие, во душиспасение...

Онюта говорит, что видела страшного убогого, который утюгами загребал-полз на коже, без ног вовсе, когда я спал. И поющих слепцов видали. Мне горько, что я не видел, но Горкин утешает — всего увидим у Троицы, со всей Росии туда сползаются. Говорят — он там какой болезный!

На низенькой тележке, на дощатых катках-колесках, лежит под дерюжиной паренёк, ни рукой, ни ногой не может. Везут его старуха с девчонкой из-под Орла. Горкин кладёт на дерюжину пятак и просит старуху показать — душу пожалобить. Старуха велит девчонке поднять дерюжку. Подымаются с гулом мухи и опять садятся сосать у глаз. От большого ужасный запах. Девчонка веткой сгоняет мух. Мне делается страшно, но Горкин велит смотреть.

— От горя не отворачивайся... грех это!

В ногах у меня звенит, так бы и убежал, а глядеть хочется. Лицо у парня костлявое, как у мертвеца, всё чёрное, мутные глаза гноятся. Он всё щурится и моргает, силится прогнать мух, но мухи не слетают. Стонет тихо и шепчет засохшими губами: «Дунька... помочи...» Девчонка вытирает ему рот мокрой тряпкой, на которой присохли мухи. Руки у него тонкие, лежат, как плети. В одной вложен деревянный крестик, из лучинок. Я смотрю на крестик, и хочется мне заплакать почему-то. На холщовой рубахе парня лежат копейки. Федя кладёт ему гривенничек на грудь и крестится. Парень глядит на Федю жалобно так, как будто думает, какой Федя здоровый и красивый, а он вот и рукой не может. Федя глядит тоже жалобно, жалеет парня. Старуха рассказывает так жалобно, всё трясёт головой и тычет в глаза чёрным, костлявым кулачком, по которому сбегает слезы:

— Уж такая беда лихая с нами... Сено, кормилец, вёз да заспал на возу-то... на колдобоине упал с воза, с того и попритчилось, кормилец... третий год вот всё сохнет и сохнет. А хороший-то был какой, бе-э-лый да румяный... тебе не хуже!

Мы смотрим на Федю и на парня. Два месяца везут, сам запросился к Угоднику, во сне

видал. Можно бы по чугушке, телушку бы продали, Господь с ней, да потрудиться надо.

— И всё-то во снях видит... — жалостно говорит старуха, — всё говорит-говорит: «Всё-то я на ногах бегаю да сено на воз кидаю!»

Горкин в утешение говорит, что по вере и даётся, а у Господа нет конца милосердию. Спрашивает, как имя: просвирку вынет за здравие.

— Михайлой звать-то, — радостно говорит старушка. — Мишенькой зовём.

— Выходит — тёзка мне. Ну, Миша, молись — встанешь! — говорит Горкин как-то особенно, кричит словно, будто ему известно, что парень встанет.

Около нас толпятся богомольцы, шёпотом говорят:

— Этот вот старичок сказал, уж ему известно... обязательно, говорит, встанет на ноги... уж ему известно!

Горкин отмахивается от них и строго говорит, что Богу только известно, а нам, грешным, веровать только надо и молиться. Но за ним ходят неотступно и слушают-ждут, не скажет ли им ещё чего, — «такой-то ласковый старичок, всё знает!».

Федя тащит ведёрко с речки — поит Кривую. Она долго сосёт — не оторвётся, а в неё овода впиваются, прямо в глаз, — только помаргивает — сосёт. Видно, как у неё раздуваются бока и на них вздрагивают жилы. Я кричу — вижу на шее кровь:

— Кровь из неё идёт, жила лопнула!..

Алой стружкой, густой, растекается на шее у Кривой кровь. Антипушка стирает лопушком и сердится:

— А, сте-рва какая, прокусил, гад!.. Вон и ещё... гляди, как искровянили-то лошадку оводишки... а она пьёт и пьёт, не чует!..

Говорят — это ничего, в такую жарынь пользительно, лошадка-то больно сытая, — «им и сладко». А Кривая всё пьёт и пьёт, другое ведёрко просит. Антипушка говорит, что так не пила давно, — пользительная вода тут, стало быть. И все мы пьём, тоже из ведёрка. Вода ключевая, сладкая. Яуза тут родится, от родников, с-под горок. И Горкин хвалит: прямо чисто с гвоздей вода, ржавчиной отзывает, с пузырьками даже, — верно, через железо бьёт. А в Москве Яуза чёрная да вонючая, не подойдёшь, — потому и зовётся — Яуза-Грязуза! И начинает громко рассказывать, будто из Священного читает, а все богомольцы слушают. И подводчики с моста слушают — кипы везут на фабрику и приостановились.

— Так и человек. Родится дитё чистое, хорошее, андельская душка. А потом и обгрязнится, чёрная станет да вонючая, до смрада. У Бога всё хорошее, всё-то новенькое да чистенькое, как те досточка строгана... а сами себя поганим! Всякая душа, ну... как цветик полевой-духовитый. Ну, она, понятно, и чует — поганая она стала, — и тошно ей. Вот и потянет её

в баньку духовную, во глагольную, как в Писаниях писано: «В баню водную, во глагольную!» Потому и идём к Преподобному — пообмыться, обчиститься, совлечься от грязи-вони...

Все вздыхают и говорят:

— Верно говоришь, отец... ох, верно!

А Горкин ещё из Священного говорит, и мне кажется, что его считают за батюшку: в белом казакинчике он, будто в подряснике, — и так мне приятно это. Просят и просят:

— Ещё поговори чего, батюшка... слушать-то тебя хорошо, разумно!..

На берегу, в сторонке, сидят двое, в ситцевых рубахах, пьют из бутылки и закусывают зелёным луком. Это, я знаю, плохие люди. Когда мы глядели парня, они кричали:

— Он вот водочки вечером хватит на пятаки-то ваши... сразу исцелится, разделает комаря... таких тут много!

Горкин плюнул на них и крикнул, что нехорошо так охальничать, тут горе человеческое. А они все смеялись. И вот когда он говорил из Священного, про душу, они опять стали насмеяться:

— Ври-ври, седая крыса! Чисть её, душу, кирпичом с водочкой, чище твоей лысины заблестит!

Так все и ахнули. А подводчики кричат с моста:

— Кнутьями их, чертей! такие вот наемни у нас две кипы товару срезали!..

А те смеются. Горкин их укоряет, что нельзя над душой охальничать. И Федя даже за





Горкина заступился — а он всегда очень скромный. Горкин его зовёт — «красная девица ты прямо!». И он даже укорять стал:

— Нехорошо так! не наводите на грех!..

А они ему:

— Молчи, монах! в триковых штанах!..

Ну, что с таких взять: охальники!

Один божественный старичок, с длинными волосами, мочит ноги в речке и рассказывает, какие язвы у него на ногах были, черви до кости проточили, а он летось помыл тут ноги с молитвой, и всё-то затянуло, — одни рубцы. Мы смотрим на его коричневые ноги: верно, одни рубцы.

— А наперёд я из купели у Троицы мочил, а тут доправилось. Будете у Преподобного, от Златого Креста с молитвою испейте. И ты, мать, болящего сына из-под Креста помой, с верой! — говорит он старушке, которая тоже слушает. — Преподобный кладёз тот копал, где Успенский собор, — и выбило струю, под небо! Опосля её крестом накрыли. Так она сквозь тот крест проелась, прыщёт во все концы, — чудо-расчудо.

Все мы радостно крестимся, а те охальники и кричат:

— Надувают дураков! Водопровод-напор это, нам всё, сресалам, видно... дураки степные!

Старичок им прямо:

— Сам ты водопровод-напор!

И все мы им грозимся и посошками машем:

— Не охальничайте! веру не шатайте, шатушие!..

И Горкин сказал — пусть хоть и распродовод, а через крест идёт... и водопровод от Бога! А один из охальников допил бутылку, набулькал в неё из речки и на нас — плеск из горлышка, крест-накрест!

— Вот вам моё кропило! исцеляйся от меня по пятаку с рыла!..

Так все и ахнули. Горкин кричит:

— Анафема вам, охальники!..

И все богомольцы подняли посошки. И тут Федя — пиджак долой, плюнул в кулаки да как ахнет обоих в речку, — пятки мелькнули только. А те вынырнули по грудь и давай нас всякими-то словами!.. Анюта спряталась в лопухи, и я перепугался, а подводчики на мосту кричат:

— Ку-най их, ку-най!

Федя, как был, в лаковых сапогах, — к ним в реку и давай их за волосы трепать и окутать. А мы всё смотрели и крестились. Горкин молит его:

— Федя, не утопи... смирись!..

А он прямо с плачем кричит, что не может позволить Бога поносить, и всё их окунал и по голове стучал. Тогда те стали молить — отпустить душу на покаяние. И все богомольцы принялись от радости бить посошками по воде, а одна старушка упала в речку, за мешок уж её поймали — вытащили. А Федя выскочил из воды, весь бледный, — и в лопухи. Я

смотрю — стягивает с себя сапоги и брюки и выходит в розовых панталонах. И все его хвалили. А те, охальники, выбрались на лужок и стали грозить, что сейчас приятелей позовут, мытищинцев, и всех нас перебьют ножами. Тут подводчики кинулись за ними, догнали на лужку и давай стегать кнутьями. А когда кончили, подошли к Горкину и говорят:

— Мы их дюже попарили, будут помнить. Их бы воротяжкой надоть, чем вот воза прикручиваем!.. Басловите нас, батюшка.

Горкин замахал руками, стал говорить, что он не сподоблен, а самый простой плотник и грешник. Но они не поверили ему и сказали:

— Это ты для простоты укрываешься, а мы знаем.

Тележка выезжает на дорогу. Федя несёт сапоги за ушки, останавливается у большого парня, кладёт ему в ноги сапоги и говорит:

— Пусть носит за меня, когда исцелится.

Все ахают, говорят, что это уж указание ему такое и парень беспрременно исцелится, потому что сапоги эти не простые, а лаковые, не меньше как четвертной билет, — а не пожалел! Старуха плачет и крестится на Федю, причитает:

— Родимый ты мой, касатик-милости-вещ... хорошую невесту Господь те пошлёт...

А он начинает всех оделять баранками и всем кланяется и говорит смиренно:

— Простите меня, грешного... самый я грешный.

И многие тут плакали от радости, и я заплакал. Ищем Домну Панфёровну, а она храпит в лопухах, — так ничего и не видала. Горкин ей ещё попенял:

— Здорова ты спать, Панфёровна... так и Царство Небесное проспишь. А тут какие чудеса-то были!..

Очень она жалела, всех чудесов-то не видала.

Идём по тропкам к Мытищам. Я гляжу на Федины ноги, какие они белые, и думаю, как же он теперь без сапог-то будет. И Горкин говорит:

— Так, Федя, и пойдёшь босой, в розовых? И что это с тобой деется? То щёголем разрядился, а то... Будто и не подходит так... в тройке — и босой! Люди засмеют. Ты бы уж поприглядней как...

— Я теперь, Михайла Панкратыч, уж всё скажу... — говорит Федя, опустив глаза. — Лаковые сапоги я нарочно взял — добывать, а новую тройку — тридцать рублей стоила! — дотрепать. Не нужно мне красивое одеяние и всякие радости. А тут и вышло мне указание. Пришлось стаскивать сапоги, а как увидел болящего, меня в сердце толкнуло: отдай ему! И я отдал, развязался с сапогами. Могу простые купить, а то и тройку продам для нищих или отдам кому. Я с тем, Михайла Панкратыч, и пошёл, чтобы не ворочаться. Давно на-

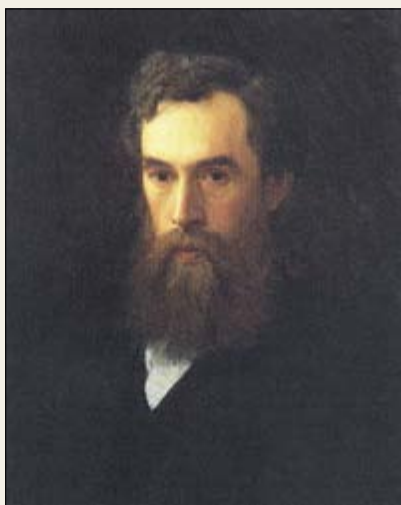


Музей впечатляющей судьбы:

Третьяковская галерея

В Москве множество художественных музеев — больших и поменьше, старинных и современных. Но особое место среди них занимает Третьяковка — так с любовью, по-домашнему называют москвичи Государственную Третьяковскую галерею. Удивительна её история, уникальны её экспозиции. Свыше пятидесяти тысяч произведений живописи, графики и скульптуры составляют ныне её коллекции.

А начинался этот славный музей русской живописи в середине 1850-х годов, когда на



Иван Крамской. Портрет Павла Михайловича Третьякова. 1876

Сухаревке молодой купец Павел Третьяков приобрёл 11 графических листов. Это и были самые первые экспонаты будущей коллекции. После посещения Эрмитажа в Петербурге определилась направленность коллекции — картины русских художников. В 1856 году Третьяков приобретает картину В. Г. Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами». Этот год и считается официальным годом основания Третьяковской галереи.

Основная идея, которую с успехом претворил Павел Ми-



Виктор Васнецов. Богатыри. 1881–1898



Андрей Рублёв. Троица. 1411 или 1425–1427

хайлович, — создание коллекции именно русской живописи, которая позволила судить об истории и особенностях отечественной культуры. По выражению Третьякова, он желал «собрать русскую школу, как она есть, в последовательном своем ходе». «Я беру... только то, что нахожу нужным для

полной картины нашей живописи», — писал он в одном из писем Л. Н. Толстому.

Абсолютный художественный вкус Третьякова позволил предугадывать тенденции — зачастую он приобретал для своей коллекции картины неизвестных авторов, впоследствии названные ше-

деврами. Так, ранние работы И. И. Левитана, В. А. Серова, Н. А. Касаткина, А. Н. Бенуа, Н. К. Рериха не получили единодушного признания. Но сегодня они составляют законную гордость Третьяковской галереи.

Особую заинтересованность Павел Михайлович проявлял к творчеству современных ему мастеров реализма. Благодаря усилиям П. М. Третьякова галерея стала обладательницей работ ярчайших представителей русской живописи: В. Г. Перова, И. Н. Крамского, Н. А. Ярошенко, Н. Н. Ге, В. М. Максимова, И. М. Прянишникова, Ф. А. Васильева, А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, А. И. Куинджи, И. Е. Репина, В. И. Сурикова, В. М. Васнецова, В. В. Верещагина...



Василий Суриков. Боярыня Морозова. 1884–1887



Василий Поленов. Московский дворик. 1878

В рамках своей коллекции П. М. Третьяков начал создавать так называемую портретную галерею знаменитых соотечественников. Для создания «русского Пантеона» Третьяков не только приобретал уже готовые картины, но и заказывал портреты известных деятелей В. Г. Перову, И. Н. Крамскому, И. Е. Репину, Н. Н. Ге.

Сначала коллекция размещалась в небольшом двухэтажном доме Третьяковых в Лаврушинском переулке. Но коллекция так быстро росла, что в 1872–1874 годах пришлось сделать первую пристройку к дому, а впоследствии ещё трижды галерея надстраивалась. Так в старом замоскворецком переулке выросло одно из первых в России специализированных зданий для разме-

щения художественного собрания. «Мы, тогдашние юнцы, ученики Училища живописи и ваяния, — вспоминал художник М. В. Нестеров, — хорошо знали дорогу в Лаврушинский переулочок... Мы шли туда как домой».

Третьяков мечтал о превращении личной коллекции в общенациональное достояние и в августе 1892 года подал в Московскую городскую думу предложение о передаче всех своих художественных ценностей в дар Москве. Древняя



Аркадий Пластов. Сенокос. 1945



Константин Коровин. Бумажные фонари. 1896

столица России, а с ней и вся страна обрели уникальный художественный музей. Во вновь открытую галерею мог попасть каждый желающий. Статистика посещений донесла до нас свидетельства постоянно возрастающего интереса к галерее: если в начале 1890-х годов её посещали око-



Владимир Боровиковский. Портрет М. И. Лопухиной. 1797

ло пятидесяти тысяч человек в год, то в 1910-е годы поток посетителей достигал уже четверти миллиона в год.

Последняя картина, приобретённая П. М. Третьяковым для галереи, были «Богатыри» В. М. Васнецова. Сразу же после покупки эта величественная картина была повешена в зал и до сих пор висит там...

Но коллекция продолжала расти и после смерти Павла Михайловича. Многие коллекционеры дарили галерее произведения искусства, продолжая традицию её основателя.

Большие изменения претерпело и здание галереи. Реконструкция основного здания началась в 1986 году. Авторы проекта (архитекторы И. М. Виноградский,

Г. В. Астафьев и другие) своей главной задачей поставили сохранить облик исторического ансамбля. В 1986 году к Третьяковской галерее на правах отделов был присоединён ряд мемориальных московских музеев: Дом-музей П. Д. Корина, Дом-музей В. М. Васнецова, Музей-квартира А. М. Васнецова, Музей-мастерская А. С. Голубкиной. В связи с этим галерея получила статус Всероссийского музейного объединения.

В 1989 году был построен так называемый Инженерный корпус, предназначенный для выставочных залов, конференц-зала, информационно-вычислительного центра, детской изостудии. В музейный ансамбль вошёл храм Святителя Николая в Толмачах.



Валентин Серов. Девочка с персиками. 1887

думал в монастыре остаться, как ещё Саня Юрцов в послушники поступил...

И вдруг подпрыгнул — на сосновую шишечку попал, — от непривычки. Горкин разахался:

— В монасты-ырь?! Да как же так... да меня твой старик загрызёт теперь... ты, скажет, смутил его!

— Да нет, я ему письмо напишу, всё скажу. По солдатчине льготный я, и у папаши Митя ещё останется... да, может, ещё и не примут, чего загадывать.

— Да Саня-то зайка природный, а ты парень больно кудряв-красовит, — говорит Домна Панфёровна, — на соблазн только, в монахи-то! Ну, возьмут тебя в певчие, и будут на тебя глаза пялить... Нашу-то сестру взять.

— И горяч ты, Федя, подивился я нонче на тебя... — говорит Горкин. — Ох, подумай-подумай, дело это не лёгкое, в монастырь!..

Федя идёт задумчиво, на свои ноги смотрит. Пыльные они стали, и Федя уже не прежний будто, а словно его обидели, наказали, — затрапезное на него надели.

— Благословлюсь у старца Варнавы, уж как он скажет. А то, может, в глухие места уйду, к валаамским старцам...

Он сворачивает в канавку у дороги и зовёт нас с Анютой:

— Смотрите, милые... земляничка-то Божия, первенькая!

Мы подбегаем к нему, и он даёт нам по веточке земляничек, красных, розовых и ещё неспелых — зеленовато-белых. Мы встряхиваем их тихо, любуемся, как они шуршат, будто позванивают, не можем налюбоваться, и жалко съесть. Как они необыкновенно пах-

нут! Федя шурхает по траве, босой, и всё собирает, собирает и даёт нам. У нас уже по букетику, всех цветов, ягодки так дрожат... Пахнет так сладко, свежо — радостным богомолем пахнет, сосенками, смолой... И до сего дня помню радостные те ягодки, на солнце, — душистые огоньки, живые.

Мы далеко отстали, догоняем. Федя бежит, подкидывает пятки, совсем как мы. Кричит весело Горкину:

— Михайла Панкратыч... гостинчику! первая земляничка Божья!..

И начинает оделять всех, по веточке, словно раздаёт свечки в церкви. Антипушка берёт веточку, радуется, нюхает ягодки и ласково говорит Феде:

— Ах ты, душевный человек какой... простота ты. Такому в миру плохо, тебя всякий дурак обманет. Видать, так уж тебе назначено, в монахи спасаться, за нас Богу молиться. Чистое ты дитё вот.

Горкин невесел что-то, и всем нам грустно, словно Федя ушёл от нас.

А вот и Мытищи, тянет дымком, навозом. По дороге навоз валяется: возят в поля, на пар. По деревне дымки синеют. Анюта кричит:

— Ма-тушки... самоварчики-то золотенькие по улице, как тумбочки!..

Далеко по деревне, по сторонам дороги, перед каждым как будто домом, стоят самоварчики на солнце, играют блеском, и над каждым дымок синеет. И далеко так видно — по обе стороны — синие столбики дымков.

— Ну, как тут чайку не попить!.. — говорит Горкин весело, — уж больно парадно при-





нимают... самоварчики-то стоят, будто солдатики. Домна Панфёровна, как скажешь? Попьём, что ли, а?.. А уж сердать не будем.

— Ты у нас голова-то... а закусить самая пора... будто пирогами пахнет?..

— Самая пора чайку попить — закусить... — говорит и Антипушка. — Ах, благодать Господня... денёк-то Господь послал!..

И уж выходят навстречу бабы, умильными голосками зазывают:

— Чайку-то, родимые, попейте... приста-ли, чай?..

— А у меня в садочке, в малинничке-то!..

— Родимые, ко мне, ко мне!.. летошний год у меня пивали... и смородинка для вас поспела, и...

— Из лужёного-то моего, сударики, попейте... у меня и медок нагдышний, и хлебца тёп-ленького откушайте, только из печи вынула!..

И ещё, и ещё бабы, и старухи, и девочки, и степенные мужики. Один мужик говорит уве-ренно, будто уж мы и порядились:

— В сарае у меня поотдохнёте, поимши-то... жара спадёт. Квасу со льду, огурцов, капус-тки, всего по постному делу есть. Чай на лужку наладим, на усадьбе, для апекиту... от духу за-дохнёшься! Заворачивайте без разговору.

— Дом хороший, и мужик приятный... и квасок есть, на что уж лучше... — говорит Горкин весело. — Да ты не Соломяткин ли бу-дешь, будто кирпич нам важивал?

— Как же не Соломяткин! — вскрикивает мужик. — Спокон веку всё Соломяткин. Я и Василь Василича знаю, и тебя узнал. Ну, за-ворачивайте без разговору.

— Как Господь-то наводит! — вскрикивает и Горкин. — Мужик хороший, и квас у него

хозяйственный. Вон и садик, смородинки по-шипите, — говорит нам с Анютой, — он позво-лит. Да как же тебя не помнить... царю родня! Во куда мы попали, как раз насупротив Карцо-вихи самой, дом вон двуросный, цел всё...

— А пошипите, зарозовела смородинка, — говорит мужик. — Верно, что сродни будто Лександре Николаевичу... — смеётся он, — братьё, выходит.

— Как — братьё?! — с удивлением говорит Антипушка; и я не верю, и все не верят.

— А вот так, братьё! Вводи лошадку без разговору.

Мужик распахивает ворота, откуда валит навозный дух. И мешается с ним медовый, с задов деревни, с лужков горячих, и духовито горький, церковный будто, — от самоварчи-ков, с пылких сосновых шишек.

— Ах, хорошо в деревне!.. — вздыхает Антипушка, потягивая в себя тёплый навоз-ный дух. — Жить бы да жить... Нет, поеду в деревню помирать.

Пока отпрягают Кривую и ставят под вётлы в тень, мы лежим на прохладной травке-му-равке и смотрим в небо, на котором засну-ли редкие облачка. Молчим, устали. Начинает клонить ко сну...

— А ну-ка кваску, порадуем Москву!.. — вскрикивает мужик над нами, и слышно, как пахнет квасом.

В руке у мужика запотевший каменный кувшин, красный; в другой — деревянный ковш.

— Этим кваском матушка, покойница, ца-ревича поила... хвалил-то как!

Пенится квас в ковше, сладко шипят пузы-рики, — и кажется всё мне сказкой.



Как Пушкин учился в школе

Московская легенда



ПУШКИНСКИЙ
ВЕНОК



О многих знаменитых людях народная молва сочиняет легенды. Не обошла она стороной и великих русских писателей. В начале XX века особенной любовью к легендарным рассказам о писателях отличались москвичи. Да и немудрено. К примеру, Пушкину и Гоголю в Москве стояли памятники, их знали все, даже не читавшие ни строчки из их произведений. Интересно, что далеко не все из рассказчиков были обучены читать и писать.

Наверное, мы бы так никогда и не узнали этих рассказов, если бы не Евгений Захарович Баранов, который в 20-х годах собрал и записал московские легенды и предания.

Легендарный рассказ «Как Пушкин учился в школе» Е. З. Баранов услышал от рабочего-каменотесца Василия Прокофьевича, выходяца из Костромской губернии, но уже давно жившего в Москве. Пушкина Василий Прокофьевич знал и уважал, хотя из пушкинских сочинений назвать смог только «Капитанскую дочку». Да и эту повесть сам Василий Прокофьевич не читал, а слушал, как читали другие.

— Я тогда ещё холостой был, — рассказывал он, — работал в артели в Москве. И вот один наш паренёк раздобыл эту «Капитанскую дочку» про Емельку Пугачёва и стал читать. Он читает, а вся артель слушает. Бывало, придём с работы, надо бы спать ложиться, а мы не спим, слушаем, чем там дело кончится. Да ночей, может, семь слушали. И ведь вся правда, всё с правды списано...

По просьбе Е. З. Баранова Василий Прокофьевич и поведал известный ему рассказ о Пушкине.

Когда Пушкин учился в школе, учитель взял и посадил его на заднюю скамейку.

— Ты, говорит, и без учения много знаешь, — сядись на заднюю скамейку, а которые остолопы — пускай на передней сидят, чтобы у меня перед глазами были и слушали мой урок.

Пушкин и говорит:

— Так и так, мне всё едино.

А после того учитель, этот профессор самый, и задаёт такой урок:

— Я, говорит, скажу вам свои слова, а вы на них скажете свои, только чтобы они в тахту (т.е. в рифму приходились). Ну вот, говорит, слушайте: «взошло солнце и освещает землю». Теперь, говорит, скажите свои слова.

Вот ученики бились-бились, ничего у них не выходит. А было их триста человек. Профессор и говорит:

— Видно, без Пушкина дело не обойдётся. Ну-ка, говорит, Пушкин, научи этих болванов в тахту сочинять.

А Пушкин говорит:

— У меня такие слова припасены, что всему классу не по нутру будут.

А профессор говорит:

— Ничего, не бойся, я за всё в ответе.

Пушкин взял и сказал:

«Взошло солнце и освещает землю,

А вы, безумные народы, не знаете, что сказать».

Вот какую тахту сказал!

А ученикам не понравилось.

— Что же это, говорят, он один умный, а мы дураки? — И стали задирать его.

Профессору подсунули сотнягу, чтобы он их руку держал. Вот профессор и говорит раз:

— Что ж это ты, Пушкин, возвышаешься? Я, говорит, на что профессор, сколько университетов прошёл, сколько академий, а не называю безумными. Только, говорит, ты мало смыслишь и до настоящих пунктов не дошёл.

Вот, видишь, какая стерва, так-растак! Раньше Пушкин был хорош, а как взятку получил, Пушкина сажай вымазал!

Пушкин слушал-слушал и рассердился:

— А, да ну вас к растакрой матери вместе с вашей школой и профессорами! Я, говорит, дома один буду учиться. Я, говорит, теперь над вами поднялся, а придёт время, буду первый в России человек и не забудут меня вовек.

И ушёл из школы сам по себе. И ведь правду сказал, что будет первым человеком: памятник поставили ему, и все знают его.

Наша матушка родная, Златоглавая МОСКВА!

Стихи о Москве

А. С. ПУШКИН

Из романа в стихах «Евгений Онегин»

Глава седьмая

XXXVI

Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы,
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церковью и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нём отозвалось!

XXXVII

Вот, окружён своей дубравой,
Петровский замок. Мрачно он
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоённый,
Москвы коленопреклонённой
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приёмный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.



Отселе, в думу погружён,
Глядел на грозный пламень он.

XXXVIII

Прощай, свидетель падшей славы,
Петровский замок. Ну! не стой,
Пошёл! Уже столпы заставы
Белеют; вот уж по Тверской
Возок несётся чрез ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.

1827-1828

Л. А. МЕЙ

Москва

(Отрывок)

Там за синей цепью гор,
За широкими полями,
Где усталый видит взор
Только землю с небесами —
Там спит город-великан,
На холмы облокотившись,
К долам низменным склонившись,
Завернувшись в туман;
Весь из куполов, блистает
На главе венец золотой;
Ветер с поясом играет,
С синим поясом-рекой.
То величья дочь святая,
То России голова,
Наша матушка родная,
Златоглавая Москва!
Ожила небес равнина,
Вот помчалась заря,
В колеснице из рубина,
Серебра и янтара;
Пробралась среди тумана
К граду огненной тропой
И коснулась великана
Бледно-розовой рукой...

1840

А. Н. МАЙКОВ

Из стихитворения

«Воробьёвы горы»

Не горят золотыми льдами,
Ни пурпурными снегами
Средь небесной синевы
Их венчаные главы;
С рёбр не хлещут водопады;
Бездны, воя и шумя,
Не страшат пришельца взгляды,
Ни пугливого коня;
Но люблю я эти горы
В простоте весёлой их,
Их обрывы, их уборы
Перелесков молодых.
Там любил я в полдень жаркий
В тишине бродить. Вдали
Предо мною лентой яркой
Волны резвые текли;
Прилетал порой тяжёлый,
Звучный гул колоколов,
И блистал как бы с престола,
Между долов и холмов,
Сердце Руси православной.
Град святой, перводержавный,
Вековой — Москва сама,
И сады её густые,
И пруды заповедные,
Колокольни, терема,
Кровель море разливное,
И в торжественном покое
Между ними, в вышине,
Кремль старинный, сановитый,
Наш алтарь, в крови омытый
И искупленный в огне.
1842

М.ЦВЕТАЕВА

Стихи о Москве

Москва! Какой огромный
Странноприимный дом!
Всяк на Руси — бездомный.
Мы все к тебе придём.
Клеймо позорит плечи,
За голенищем — нож.
Издалека-далече
Ты всё же позовёшь.
На каторжные клейма,
На всякую болесть —
Младенец Пантелеймон
У нас, целитель, есть.
А вон за тою дверцей,
Куда народ валит,—



Там Иверское сердце,
Червонное, горит.
И льётся аллилуйя
На смуглые поля.
Я в грудь тебя целую,
Московская земля!

8 июля 1916

В. Я. БРЮСОВ

* * *

Нет тебе на свете равных,
Стародавняя Москва!
Блеском дней, вовеки славных,
Будешь ты всегда жива!
Град, что строил Долгорукий
Посреди глухих лесов,
Вознесли любовно внуки
Выше прочих городов!
Здесь Иван Васильич Третий
Иго рабства раздробил,
Здесь, за длинный ряд столетий,
Был источник наших сил.
Здесь нашла свою препону
Поляков надменных рать;
Здесь пришлось Наполеону
Зыбкость счастья разгадать.
Здесь, как было, так и ныне —
Сердце всей Руси святой,
Здесь стоят её святыни,
За кремлёвскою стеной!
Здесь пути перекрестились
Ото всех шести морей,
Здесь великие учились —
Верить Родине своей!
Расширяясь, возрастая,
Вся в дворцах и вся в садах,
Ты стоишь, Москва святая,
На своих семи холмах.
Ты стоишь, сияя златом
Необъятных куполов,
Над Востоком и Закатом
Зыбля зов колоколов!

1911



Московский раёк

Художник В. Бухарев

Ещё в начале нашего века на праздничных гуляниях можно было встретить мужиков, одетых в яркие, обшитые цветными кусками материи кафтаны с пучками цветных же тряпок на плечах и привязанными к подбородку льняными бородами. Эти странные персонажи стояли возле ящика на высокой ножке, крутили ручку и громко кричали. И всегда вокруг них толпилась масса народу.

Кто это были? Звали их «раёшниками», а ящик с ручкой — «раёк». Вот как описывал раёк знаток народного творчества Даровинский: «Раёк — это небольшой, аршинный во все стороны ящик с двумя увеличительными стёклами впереди. Внутри его перематывается с одного катка на другой длинная полоса с доморощенными изображениями разных городов, великих людей и событий. Зрители, “по копейке с рыла”, глядят в стекла, раёшник передвигает картинку и рассказывает сказки к каждому новому номеру».

Вот и выходит, что раёк — это «кино прошлого века». Причем кино комедийное. Лента райка состояла из серии лубочных картинок, а их показ сопровождался не просто пояснениями-приговорами раёшника, смешными и даже сатирическими. Часто приговоры не были связаны с показываемой картинкой, и эти картинку-лубки служили поводом ко всякого рода балагурству и рассуждениям.

Сейчас вы имеете возможность познакомиться с этими смешными и весёлыми приговорами-прибавками, которые рассказывали своим зрителям и слушателям московские раёшники.

Кстати, не ко всем «приговорам» раёшника наш художник нарисовал картинку. Попробуйте это сделать сами!

1



Здравствуй, господа разные, дельные, и праздные, и трезвые, и пьяные, и скромные, и рьяные, и молодые, и старые, и полные, и супопарые! От блинного угара едва дышу, а всё же вам раёк показать спешу! Картинки разные есть, всех не перечить, сами посмотрите, да если есть досуг, перечтите! Райком вас на совесть угошу и похвал за это никаких не ищу, а если блинами меня угостите, не взыщю. К райку скорее подходите, картинку смотрите да по гривеннику заплатите, если имеете; а затрат не пожалеете, и не будет вам обидно, потому что в райке много смешного видно!

2

Это городская мостовая! Проезжайте по ней хотя пять сажен, хотя путь такой не велик, но вам так насует под микитки, что вымотает всю душу до нитки. Штука важнецкая!

3

Вот, братцы, картина: в ноябре месяце комета Бела чуть-чуть нашу землю хвостом не задела. Об этом предсказали учёные мужи, у которых ум нашего с вами не уже. Газетчики-умники выпустили насчёт конца мира книжки, на которые плевали даже глупые мальчишки, а с больших дурачков они собрали много за это пятачков. Занятно!

4

А вот картинка, как воевали американцы и испанцы и как первые последним насыпали в ранцы, после чего испанцы потеряли все шанцы!

5



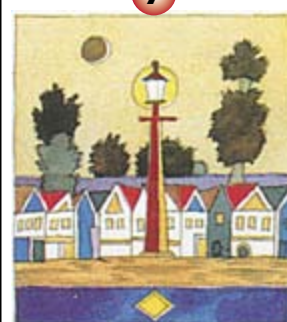
Вот ещё сюжет: вводят у нас трезвость несколько лет, и многие обет не пить вина давали, но как в Общество попали, так и пропали. Вот вам пример, джентльмен, этого Общества член, смотрите. Но с него примера не берите!

6



А вот ещё штука, стоит жука. Смотрите-ка сюда: это — декаденты господа. Писатели-любители, здравого смысла губители. Описывают, как поют миноги, как рыдают зелёные ноги. У них всё не по-нашенски: чувства у них красные, звуки ананасные, в сердце булавки, в затылке пиявки, в голове Гоморра и Содом, словом, кандидаты в жёлтый дом! Туда им и дорога!

7



А теперь вам случай представляется посмотреть, как Москва освещается. Кой-где горит электричество, кой-где газ, а на других улицах хоть выткни глаз, зги не видно. Вот что обидно!

8

Нет хуже в Москве бедь, как недостаток воды. Дума дать городу водицы бы не прочь, но боится, что ей в ступе нечего будет толочь. Вот он городской водопровод, источник стольких забот. Ситного пирога ему с горохом в рот!

9



А вот и Ломоносов, первый наш учёный, в русской школе испечённый, прежде был архангельский мужик, а потом стал разумен и велик. О нём много нечего объяснять, каждый из вас должен о нём хорошо знать.

10



А вот московскую картинку покажу, об Екатерининском парке расскажу. В этом парке днём не гуляют даже и кухарки. А ночью и зимой и летом жуликов столько обретается, что всякий прохожий на них натывается и остаётся не только без часов, но и без носовых платков. Приходит домой гол как сокол.

11



Не только мы, русские, да жители французские, но и всякая живущая в Москве нация знает, что у нас везде и всюду фальсификация. К примеру, московский дешёвый трактирный чай вы возьмите да его хорошенько рассмотрите. Чего только там нет! Там и липовый цвет, и мякина, и навоз, и солома — словом, всё, что есть в деревне у хорошего мужика — хозяина дома.

12

А вот ещё дорога. Однажды дохнуть — Великий сибирский путь. Прежде воров-кассиров и банкиров доставляли в Сибирь через год, а теперь порядок не тот: в миг один доставят на Сахалин. Штука важнецкая!

13



А вот смотрите: городская ассенизация. Когда-то у нас будет, наконец, канализация? Большая с ней прокляемца!

14

А вот картинка новая с разными фигурами: война англичан с бурами.

15



А вот отрадная картина для русских взоров: наш родной герой Суворов переходит Чёртов мост. Ура! Бери в штаны.

16



Московские капиталисты у нас очень речисты. Решили, чтобы Хитровский притон имел великосветский тон, хотя бы деньги собрать и его преобразовать. А по моему, на Хитровских аристократах костюм всегда останется в дырах и заплатках. Так-то!

17

А вот на оперной сцене поставили недавно «Троянцы в Карфагене». Слушающий их народ от скуки разодрал весь рот.

18

А вот вам здание вроде как бы бандитное — это общество Кредитное, преобладающая сумма, денег в ней дают помногу под негодные дома. Словом, много наделала шума и гама эта московская Панама! Молодцы ребята!

19



Вот тоже картинка чудесная, хотя давно всем известная: как железные дороги ломают нам руки и ноги! Вот, например, Архангельская железная дорога, много простора взяла она у Бога. По этой дорожке мы ездим разгонять тоску, по ней же привозят нам рыбу треску, от которой так воняет, что нашим ассенизационным обоям не уступает. Зажимите, братцы, нос!

20



А вот резиновые шины, от которых стонут дамы и мужчины. Шины кладут на них особый отпечаток, окачивают грязью с головы до пят. Дума наша этому тоже удивляется, к шинам приспособить щиты собирается. Сама на резинах катается, а дело на вершок вперёд не продвигается. Упёрлось!

21

Для поклонников моего райка и этого довольно пока, а то надоест боюсь. Адью-с!



Волоцкий монастырь

В Волоколамском районе Московской области, у деревни Теряево, стоит Успенский Волоколамский (Волоцкий) монастырь. Архитектурный ансамбль его, сложившийся в семнадцатом веке, грандиозен. Монастырь окружают мощные стены, охраняют прочные башни. Они отражаются в огромных прудах, выкопанных монахами за оградой обители. Известны имена строителей монастыря. Это Иван Неверов и Трофим Игнатьев. Успенский собор строил Кондратий Мымрин. Собор украшен разноцветными изразцами, изготовленными в московской мастерской Степана Полубеса. Но ещё интереснее, чем архитектура, история монастыря.

В русской церковной истории важное место занимает случившийся в начале XVI века спор так называемых «иосифлян» с «нестяжателями». «Нестяжатели» — если судить только по названию — это, наверное, «бескорыстные люди». А кто такие «иосифляне»?

Так именовали сторонников игумена Иосифа, создателя и настоятеля Волоцкого монастыря. Он предпринял реформу монастырской жизни. Со времени возрождения русского монашества в XIV веке в иноческом быту накопилось много проблем. В святых обителях возникали споры, распри, появлялись ереси. Монашество разделялось на богатых и бедных, пропадал сам дух общинной жизни. А если нет общей жизни, нет и соборной молитвы, а значит — монастыри не

выполняют своей главной задачи. Причина этих неполадок, по мнению Иосифа Волоцкого, в том, что, приходя в монастырь из мира, монахи оставляют при себе своё имущество. Кто был богат в миру, остаётся богачом и в монастыре. Душа его привязана к земным сокровищам. А монастырской общине, монастырскому хозяйству от этой частной собственности нет никакой пользы. Поэтому Иосиф Волоцкий предлагал запретить инокам пользоваться своим добром. Поступая в монастырь, они должны были передавать свои средства в общее пользование. Охотно принимал Иосиф в свой монастырь и крестьян, не владевших имуществом. Он считал, что из них получаются наиболее дисциплинированные монахи.

Но если Иосиф Волоцкий был против частной собственности, чего же тогда хотели «нестяжатели»? Неужели они шли ещё дальше и старались раздавать имущество, например, деревенским беднякам?

Ничего подобного. «Нестяжатели», последователи другого крупного церковного деятеля Нила Сорского, считали, что монастырям собственность не нужна, зато монахи вправе ею владеть. Имеются у монашеской общины какие-то земельные владения — хорошо, нет — ещё лучше, ведь большое хозяйство отвлекает от молитвы. А монахи прокормятся на свои собственные средства. Не нужны, по мнению «нестяжателей», и богатые росписи в храмах, и дорогие



оклады для икон. Они якобы мешают духовной сосредоточенности. Идеальный монастырь, по мнению «нестяжателей», — это лишь ряд отдельных скитов, где каждый монах живёт уединённо, не сообщаясь с другими иноками.

Но что делать, спрашивается, неимущим членам монастырских общин? И на какие средства вести строительство, покупать свечи, кормить паломников и нищих, лечить больных и учить детей в монастырских школах? Вот и вышло, что, выступая против «стяжательства» монастырских настоятелей, Нил Сорский и его политические сторонники на самом деле поощряли несправедливости, творившиеся в святых обителях. Конечно, Сорский отшельник не был злым человеком и тоже желал добра церкви. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский дружили. И тот и другой были связаны с Кирилло-Белозёрским монастырем и учились у его настоятелей. Некоторые книги, обличавшие ереси и призывавшие к обновлению монастырской жизни, преподобные Нил и Иосиф написали вместе. Значит, многие идеи были у них общие. Как и Иосиф Волоцкий, Нил Сорский причтён к лику святых православной церкви. Но в русских монастырях требовалось навести порядок. Единственным способом было передать земли, деревни и крестьян — основу средневековой «энергетики» — в пользование монастырям.

Продумать такую реформу было не просто, тем более что Иосиф был лишь одним из многих

монастырских настоятелей и не мог приказывать руководителям других обителей. Он мог только писать книги и воздействовать словом. Однако в конце концов сторонники Иосифа Волоцкого победили. Монастырская жизнь снова расцвела. До сих пор русские монастыри живут по началам, положенным Сергием Радонежским и укрепленным Иосифом Волоцким.

О правоте Иосифа свидетельствует и архитектура. Детище Иосифа Волоцкого до сих пор стоит как ни в чём не бывало. Успенский монастырь уцелел даже во время войны, хотя не раз оказывался на линии фронта. Взорвали только колокольню, которая почти не уступала по высоте московскому «Ивану Великому».

В монастыре можно увидеть здание, построенное ещё при жизни преподобного Иосифа — трапезную палату. Дошла до нас и монастырская библиотека. Сохранились написанные волоцким игуменом книги и хозяйственные документы, по которым до сих пор изучают историю России.

Сберечь монастырь могло только чудо, и оно произошло. Перед смертью преподобный Иосиф сказал: «Вот вам знамение: если я получу дерзновение и милость у Господа, место святое сие не оскудеет и обитель распространится».

Чудеса до сих пор случаются в этом святом месте. Приехав в монастырь поздней осенью, вы увидите цветущие розы, словно на дворе — лето.



Покровительница КОШЕК



Хорошо, когда дома есть кошка или собака. Собаки у меня нет. А вот кот есть! Его зовут Маркиз. Мы нашли его на улице, когда он был ещё котёнком. А теперь он такой домашний, что на улице и носа не высовывает. Видно, нелегка была его бездомная жизнь. За улицей Маркиз любит наблюдать из окна и с лоджии, удобно расположившись на перилах. Так что на своих собратьев он смотрит с высоты второго этажа, а общаться предпочитает только с домочадцами, то есть с нами. Маркиз так деликатен и умён, что просто диву даёшься! То ли мы так угадали с именем, то ли, наоборот, имя так действует на него... Жалко, что он не может разговаривать — это его единственный недостаток. А может, это и к лучшему... Иногда Маркиз так взглянет, что становится неловко за себя — это когда я слегка дурнусь. Представляю, что бы он мог мне сказать! А иногда, когда я учу вслух

стихи, мне кажется, что он их давно выучил, пока я повторял одно и то же по нескольку раз. Да, такого кота поискать!

А недавно судьба неожиданно свела меня с настоящими бездомными кошками. А дело было так. Я гостил летом у своей тёти Наташи в Сызрани. В первый же день приезда я вышел во двор с велосипедом, чтобы прокатиться по стадиону, который находится неподалёку. Но тут моё внимание привлекли кошки, откуда ни возьмись появившиеся как по команде. Десятка полтора особей разных мастей и пород чинно расселись полукругом и стали смотреть в одну сторону — по направлению к автобусной остановке. Невольно и я стал смотреть туда же. Из подошедшего автобуса вышла женщина с двумя сумками в руках и направилась к нам. Кошки разом напряглись, вытянулись и приветственно замыкали. Особо нетерпеливые пошли

ей навстречу. «Ах вы мои родные, соскучились, проголодались», — ласково приговаривала женщина, выгружая из сумок разнообразные баночки, пакетики, бутылочки. Кошки ходили вокруг, стараясь прикоснуться, потереться о её ноги. Я поставил свой велосипед и подошёл поближе.

— Это ваши кошки? — поинтересовался я на всякий случай.

— Нет, они бездомные, а я их просто подкармливаю, — ответила незнакомка. — Меня зовут Юлия Сергеевна. Если хочешь, можешь мне помочь.

Я с готовностью согласился и сказал, как меня зовут. Так мы познакомились.

В баночках и пакетиках был кошачий корм. Мы с Юлией Сергеевной раскладывали еду в одноразовые мисочки и давали кошкам. Я успел разглядеть, что у одного котика была повреждена нога — не было лапки. На ходьбе это не сказывалось, он довольно ловко передвигался. «Его зовут Бублик. Он отморозил зимой лапы, — пояснила Юлия Сергеевна, увидев моё изумление, — я лечила его дома; вот, одну лапку спасти не удалось».

Из подъезда вышел мужчина. Он поздоровался с нами, постоял, посмотрел.

— Марсик, а ты что тут делаешь! — спохватился он вдруг. — Юлия Сергеевна, гоните вы моего кота! Ишь повадился, хитрец. Дома ему еды мало?!

— Ничего, пусть кушает, если нравится, — успокоила моя новая знакомая хозяйина находчивого кота.

Кошки ели степенно, не торопясь. Каждая особа имела своё предпочтение, и Юлия Сергеевна это учитывала: в баночках были рыбные и мясные консервы разных видов. В отдельные плоскости мы налили воду и молоко.

— Вот, Кирилл, два раза в день я приезжаю к ним. Они ведь меня ждут! Даже боюсь подумать, что будет, если заболел и не смогу приехать... — поделилась со мной Юлия Сергеевна. — Хлопочу об открытии приюта для бездомных кошек. Дела продвигаются, к зиме должны открыться, — добавила она с надеждой.

Я в душе порадовался за этих бедолаг и за добрую женщину, которой есть дело до них.

Вечером мы встретились снова. Кормление кошек состоялось в том же порядке. Я так втянулся в это ежедневное за-

нятие, что не заметил, как пролетели две с половиной недели. Жалко было расставаться с Юлией Сергеевной и со всеми этими Барсиками-Мурзиками, которые тоже привязались ко мне и принимали за «своего». На прощание Юлия Сергеевна подарила мне на память фарфоровую статуэтку кошки и передала гостинец моему Маркизу — две баночки кошачьих консервов. А я ей подарил свой фонарик, чтобы вечером не страшно было ходить, зимой ведь рано темнеет.

Дома все были рады моему возвращению. Кот встретил меня довольным урчанием. На гостинцы от моей знакомой он отреагировал довольно вяло. Вот что значит домашний! Я выложил консервы в контейнер и вышел на улицу проверить, есть ли там бездомные коты. Долго ждать мне не пришлось. С дерева слез бело-рыжий котик, подошёл к площадке и с опаской поглядел на меня. Убедившись, что я ему не помеха, он стал с аппетитом есть. Я так и не понял, домаш-



ний он или нет, и на всякий случай выносил ему еду. Потом оказалось, что у него есть хозяйка. Она его ласково называла — Моня.

Фарфоровая кошечка, подаренная мне Юлией Сергеевной, стоит у меня на письменном столе и напоминает о моём летнем приключении.

Интересно, как там они теперь...



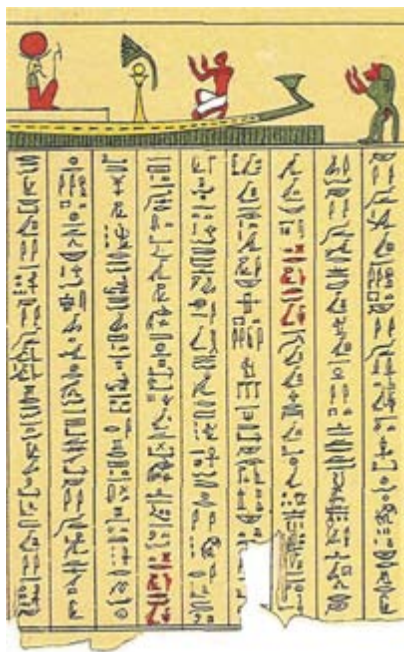
Пётр Глядко

Достижения цивилизации

(Продолжение. Начало см. в ДРГ №2, 4, 5 2014)



Алфавит и книгопечатание



Египетское иероглифическое письмо

жие новости написаны на листах бумаги — это газета. Студент смотрит в книгу, готовясь к сессии, — это учебник. Зачитываясь рассказанной автором историей, человек забывает о времени — это роман. Чтобы настроить прибор, инженер листает брошюру — это инструкция. Социальная сеть в Интернете, исторические хроники, справочники, расписание — основой всего этого является алфавит.

Когда-то письменности не было, и мы даже точно знаем когда. Первые системы записи устного языка сформировались около 3200 года до н.э. в Шумере (на юге современного Ирака) и независимо от него около 600 года до н.э. в Центральной Америке. Археологи находили и более старые надписи, однако их было слишком мало, чтобы понять, был ли это полноценный язык или просто отдельные символы. Многие из них до сих пор не расшифрованы.

До изобретения алфавита люди ничего не записывали. У них не было истории кроме той, что передавалась изустно, от одного рассказчика другому. У них не было новостей кроме тех, которые пересказывали заезжие торговцы и путешественники. Мешало ли им это? Возможно. И всё-таки необходимость в письменности ощущалась. Торговцам нужно было фиксировать количество поставленного товара. Закон должен быть записан в точности, а не зависеть от толкований. В храмах велись летописи, погодные и астрономические хроники. Накопленные за много лет погодные хроники были особо важны. В Египте эти хроники позже кормили весь народ, поскольку позволяли

Мы читаем каждый день, каждый час, каждую минуту. Информация, на бумаге, на вывесках или на многочисленных дисплеях, окружает нас со всех сторон. Све-

предсказывать разливы Нила и управлять орошением полей. Можно сказать, что это была первая прикладная информационная технология.

Первая шумерская письменность была формой сокращённой записи. Один знак обозначал количество, второй — тип товара, например, «одна овца» или «три меры зерна». Постепенно некоторые сочетания символов стали приобретать собственный смысл. Знак «птица» вместе со знаком «яйца» стал обозначать «плодовитость», но не только в отношении птиц. Так в письменном языке появлялись абстрактные понятия, или, на научном языке, «идеограммы стали сменять пиктограммы». Следующим шагом стала фонетическая запись. До того одну и ту же идеограмму можно было прочесть по-разному, но понимать одинаково. Фонетический же алфавит читается одинаково, поскольку буква обозначает не смысл, а звук. Большинство современных алфавитов, и в том числе русский — фонетические.

Одновременно изменялась технология письма. Первые надписи на шумерском не писали чернилами на бумаге, а вырезали на глиняных табличках, потом сырую глину обжигали. Самые важные надписи высекали в камне. Постепенно письмо упрощалось, и вместо вырезания буквы стали выдавливать специальной палочкой с концом треугольной формы — каламом. За характерную форму шумерскую письменность называли клинописью. Шумерская книга была не слишком удобной — она могла занимать целый ящик глиняных табличек, была тяжёлой и хрупкой. Тогда люди стали думать, как усовершенствовать процесс письма. В Египте использовали растительный материал — папирус. Используемый в Средние века пергамент, сделанный из шкур животных, был ещё удобнее. Листы пергамента складывали и прошивали посередине, сложенный вчетверо, он становился тетрадью («тетра» по-гречески значит «четыре»).

Изобретение письма называют первой информационной революцией. Человечество получило возможность фиксировать и передавать информацию. Развитие цивилизации, двигавшейся до этого по замкнутому кругу, сменилось восходящей спиралью прогресса. Очень мудро сказал об этом создатель классической механики Ньютон: «Если я видел дальше других, то только потому, что стоял на плечах гигантов». Именно возможность сохранять и использовать опыт предшественников позволила человеку «стоять на плечах гигантов», преумножая знания с каждым поколением. Используя накопленные знания, человек создал машины, чтобы они трудились вместо него, поставил себе на службу энергию пара, электричества и атома.

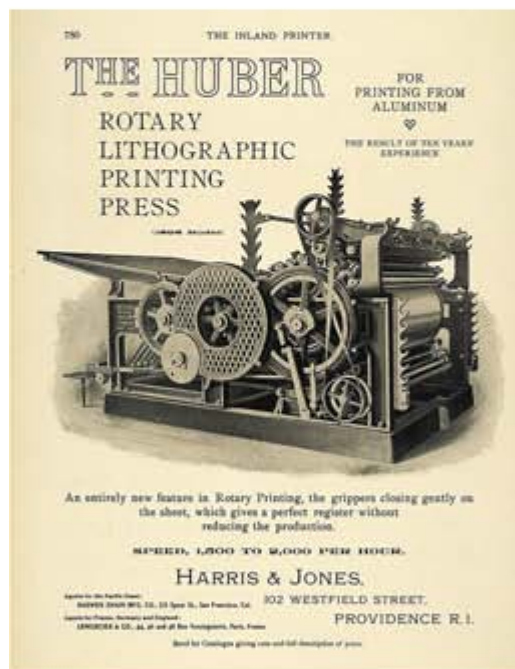
Второй информационной революцией стало книгопечатание. Печатная книга, в отличие от рукописной, стала общедоступной, и образование — до этого удел избранных — всеобщим. Дальнейшее развитие информационных технологий связано с электричеством. Изобретение телеграфа, телефона, радио и телевидения во много раз ускорило передачу информации. Следующим логическим шагом было изобретение компьютера, устройства, обрабатывающего информацию автоматически. Отдельные компьютеры были связаны в локальные сети, а потом из них образовалась одна огромная сеть — Интернет. Возможности Интернета практически безграничны. Поиск сервисов, социальные сети, библиотеки, содержащие десятки тысяч книг, — всё это удивительное богатство доступно любому грамотному человеку, подключённому к Всемирной информационной сети.



Японская каллиграфия



Славянский полуустав



Печатная машина. Конец XIX века



Шумерская клинопись



Башни Кремля

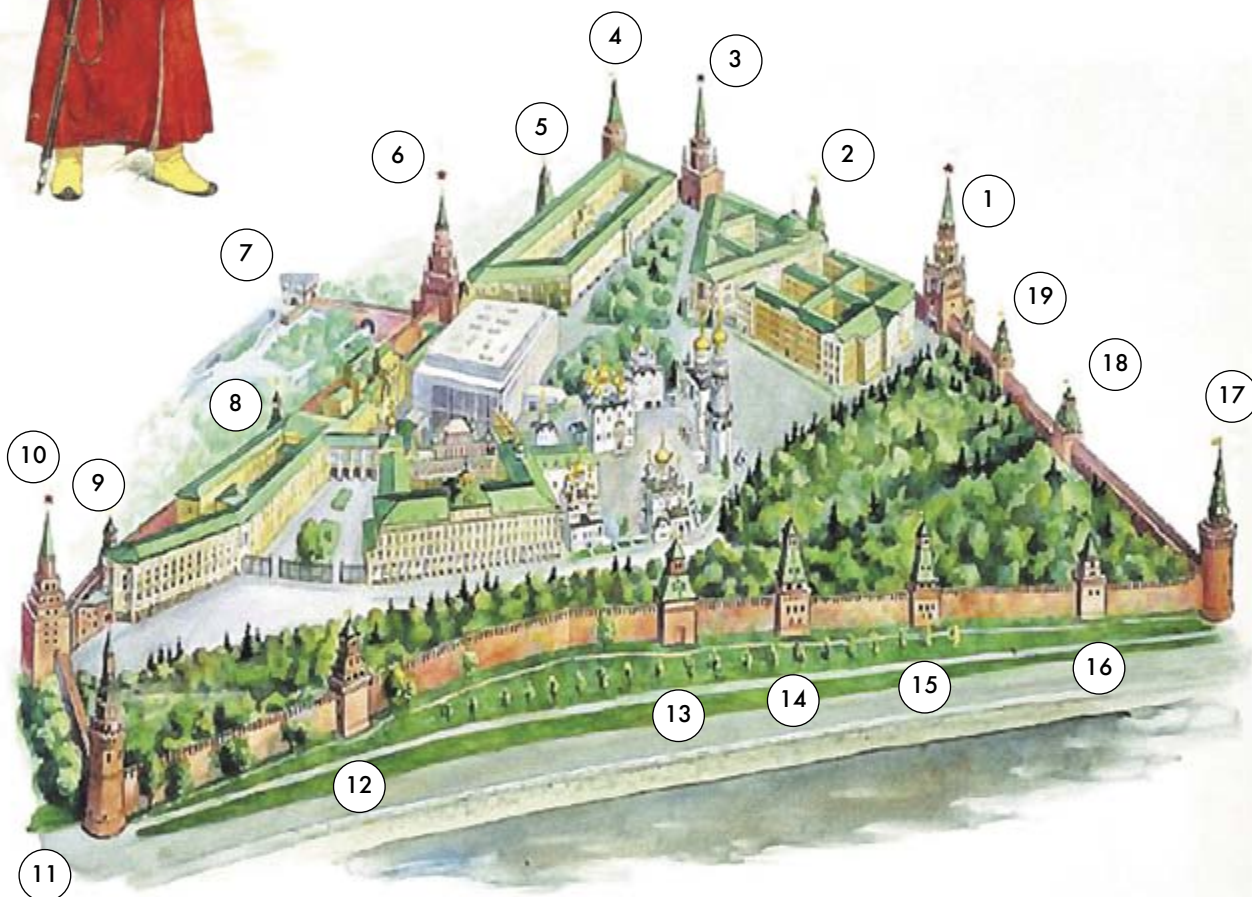


Стрелец Иван приехал в Москву из далёкой Астрахани. И задали ему службу государеву — обходить днём и ночью Кремль от Царской башни до Спасской. А Иван названий башен не знает...

Ребята!

Помогите стрельцу Ивану разобраться!

Перед вами план Кремля: башни пронумерованы, а рядом список их названий. Поставьте номера у каждого названия.



ЦАРСКАЯ
 КОНСТАНТИНО-ЕЛЕНИНСКАЯ
 БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ
 ВОДОВЗВОДНАЯ (СВИБЛОВА)
 1-Я БЕЗЫМЯННАЯ
 СРЕДНЯЯ АРСЕНАЛЬНАЯ
 БОРОВИЦКАЯ
 ПЕТРОВСКАЯ
 ТАЙНИЦКАЯ
 НАБАТНАЯ

БЕКЛЕМИШЕВСКАЯ (МОСКВОРЕЦКАЯ)
 ОРУЖЕЙНАЯ
 ТРОИЦКАЯ
 КОМЕНДАНТСКАЯ
 КУТАФЬЯ
 УГЛОВАЯ АРСЕНАЛЬНАЯ (СОБАКИНА)
 СПАССКАЯ (ФРОЛОВСКАЯ)
 2-Я БЕЗЫМЯННАЯ
 НИКОЛЬСКАЯ
 СЕНАТСКАЯ

Моя умная внучка

Владимир Волков
Художник Г. Лопачёва



РАССКАЗЫ

Уставшее дерево

— Дедушка, а почему это дерево лежит?
— Перед нами, преграждая дорогу, лежал тополь с обломанными ветвями.

— Его ветер сломал, — сказал я.

Аннушка долго смотрела на упавшее дерево.

— Нет, дедушка, дерево не ветер сломал. Оно устало стоять и легло спать.



Маленькая собачка

А тут — откуда ни возьмись! — маленькая лохматая собачка. Она подбежала к Аннушке и лизнула её в щеку. Я прогнал собачку.

— Она же давно меня ждала, — сказала Аннушка. — Она же не может до больших тётей и дядей дотянуться...

Потерянный ботинок

Это был маленький детский ботиночек. Он валялся на дорожке. Мы остановились — откуда он тут взялся?

— Он потерялся, — объяснила мне Аннушка.

Мы не знали, что делать с потерявшимся ботиночком. Но тут мы услышали громкий рёв, и из-за поворота появилась коляска с маленьким мальчиком. На одной ноге у него был ботиночек, а на другой — нет. Аннушка подняла ботиночек.

— Не плачь, — сказала она мальчику. — Вот твой ботиночек. — И мальчик перестал плакать.



Утка и ворона

Мою внучку зовут Аннушкой. Она уже не маленькая — ей три года.

Утром мы с Аннушкой пошли в парк. Там есть пруд, где живут утки. Мы принесли им хлеб.

— Утя! Утя! Утя! — позвала Аннушка утку, чтобы она подплыла поближе. Когда утка подплыла, Аннушка бросила ей кусочек хлеба, но он упал рядом, на берегу. И его схватила ворона.

— А ну кышь отсюда! — прогнал я ворону.

Аннушка нахмурилась:

— Ворона тоже хочет кушать.



МОЯ МОСКВА

Под таким названием провели классный час учителя младших классов школы № 141 г. Москвы Качобова Н. В., Казакова Н. А., Украинская С. В. и Кузина Н. А. Дети рассказывали о родном городе, читали стихи и рисовали улицы Москвы. Мы предлагаем вашему вниманию лишь некоторые из этих работ, их очень много и каждая по-своему интересна и полна любовью к нашему городу.

Катя ТИМОХИНА

Москва! Прекрасней тебя нет.
Стоишь уже ты много лет.
Звонят твои колокола
У стен красивого Кремля.

Даша СКУРИДИНА

Москва берёт начало
От древнего Кремля,
Вокруг него давно течёт
Красавица река.

Ася АНТИПОВА

Москва — переулки, мосты
и дома.
Москва — отражение черёмух
в пруду.
Москва — москвичи, фонари,
купола.
Москва! Этот город я очень
люблю!

Даниил ЕРШОВ

Я люблю Москву потому, что родился в ней. В центре сохранились дома, где бывали известные люди — поэты, писатели, композиторы и художники. Это видно в названиях улиц, площадей и домов: Пушкинская площадь, Гоголевский бульвар, Консерватория имени Чайковского, училище имени Сурикова. Всё это — живая история нашей столицы.

Андрей СТАРКОВ

Москва улыбками сияет,
По небосклону день гуляет.
Все вышли на улицы,
Никто сейчас не хмурится.

Андрей ЕПАНЕЧНИКОВ

Моя Москва!
Тебя люблю,
Тебе тюльпаны я дарю!

Павел АНОХИН

Москва! Мой милый старый
город!
Люблю твои я купола.
Я здесь родился, рос, учился,
Не разлюблю тебя я никогда.

Наталья СЕРГЕЕВА

Москва, мой город родной!
Красивей не знаю тебя.
Всегда спешу я домой,
Просторы твои любя.
Знакома всем Красная площадь
И Вечный огонь у Кремля...
В этот радостный праздник
Хотим мы поздравить тебя.

Николай ЗАХАРОВ

Я люблю Москву потому, что это красивый, современный город. В Москве много интересных старинных мест. Я люблю гулять с родителями по улицам и площадям города, а также по паркам и скверам. Я люблю Москву, потому что в ней родился и учусь.

Роман САФАРОВ

Я люблю гулять в Москве,
Город — просто чудо!
Всю историю его
Знать хочу и буду!
Кремль, двор, ВДНХ —
Это матушка-Москва!
Мы — столицы нашей дети,
И гордимся очень этим.

Василий ЛОГИНОВ

Я приехал в Москву в конце августа, на Ярославский вокзал, названный так в честь моего родного города. Потом мы пошли на метро. Я думал, что ехать будет очень страшно! Но страшно не оказалось. Можете мне не верить, но метро я уви-

дел первый раз в своей жизни. Потом папа показал мне мою новую школу. На следующий день я пошёл в школу. И я нашёл новых друзей! Потом мы с папой где только не побывали! В кинотеатрах, в театре, в зоопарке! Ой! Что за чудесные московские выходные! И вот тогда я понял, что жить в Москве мне нравится. Этот город я уже полюбил.

Виктория ТОЛМАЧЁВА

Москва — столица нашей Родины. Это самый лучший город. Я родилась здесь. Больше всего мне в Москве нравится Красная площадь, потому что там очень красиво и много интересного. Там есть Вечный огонь, который горит всегда. Около Огня стоят солдаты по стойке смирно в любую погоду. На Красной площади есть очень красивый храм Василия Блаженного. А на Спасской башне самые точные часы. Они называются куранты. А ещё зимой я люблю ходить в Кремль на новогоднюю ёлку, там всегда весело.

Полина ФИЛИПОВА

Москва — хороший город и удивительный. В нём очень много всяких выставок: например, выставка собак, кошек. Ещё в Москве есть Красная площадь. У Кремлёвской стены 20 башен. Сначала Москва была деревянная, потом белокаменная, а потом стены Кремля стали из красного кирпича. Такой Кремль сейчас. На Красной площади можно отмечать Новый год. А можно и дома. Мне очень нравится город Москва. И любит его вся моя семья. И даже моим попугаям, Кеше и Крабу, и собаке Даше нравится наш город!

Сергей ФЁДОРОВ

Я живу в Москве. Москва — это главный город России. Москва большая. Ещё мне нравится Красная площадь. В Москве есть зоопарк, музеи, театры, монорельсовая дорога. Это очень интересный город.

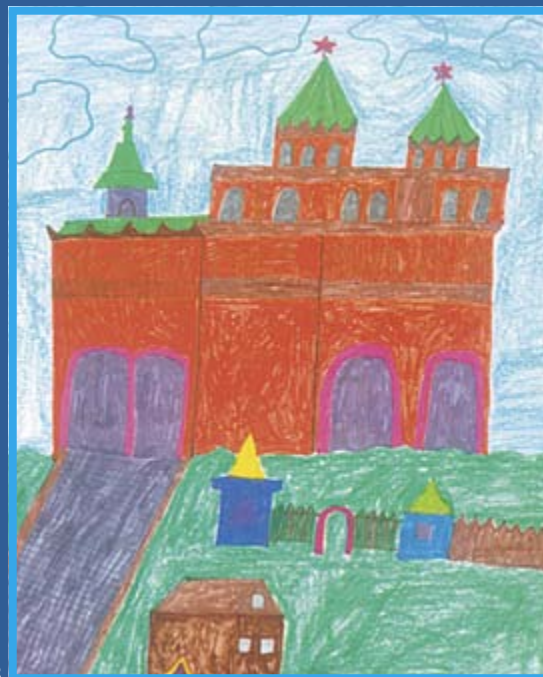
Наш ВЕРНИСАЖ



1



2



8



3



5



6



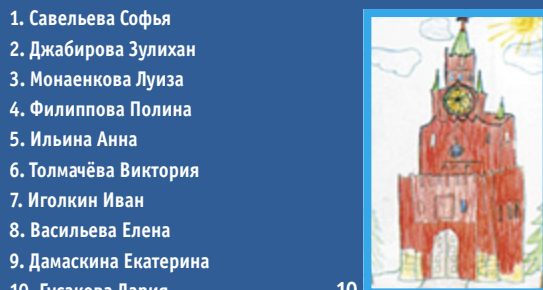
9



4



7



10

1. Савельева Софья
2. Джабирова Зулихан
3. Монаенкова Луиза
4. Филиппова Полина
5. Ильина Анна
6. Толмачёва Виктория
7. Иголкин Иван
8. Васильева Елена
9. Дамаскина Екатерина
10. Гусакова Дария



РАССКАЗЫ:

Рассказы-горошины

«“Алёнушка” как будто давно жила в моей голове, но реально я увидел ее в Ахтырке, когда встретил одну простоволосую девушку, поразившую моё воображение. Столько тоски, одиночества и чисто русской печали было в её глазах... Каким-то особым русским духом веяло от неё».

В. Васнецов



В. Васнецов. Алёнушка. 1881



ЛИЦЕЙ:

Златоглавая Москва



ЖИВОЙ УГОЛОК:

Покровительница кошек



ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ:

Достижения цивилизации